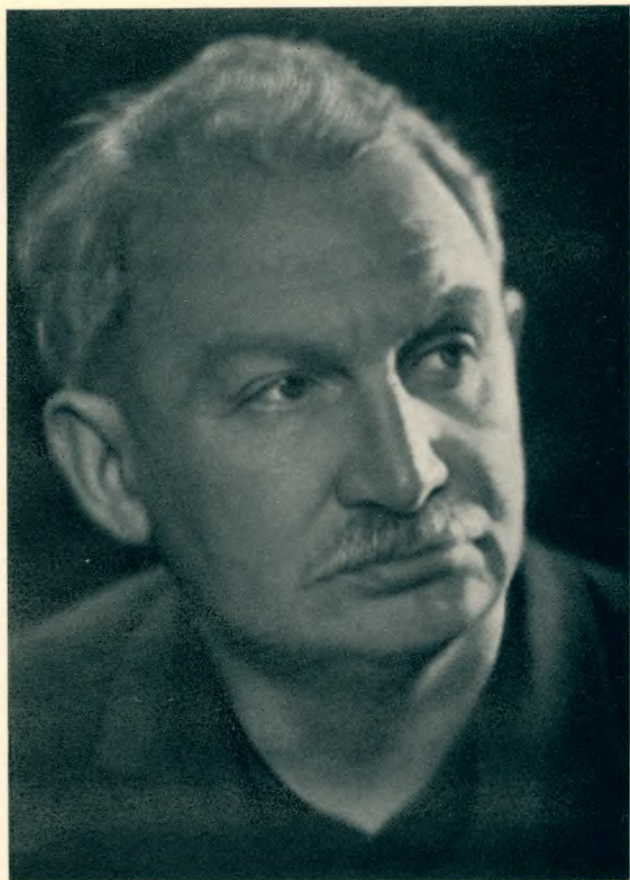




**БОРИС
СЛУЦКИЙ**

**НЕОКОНЧЕННЫЕ
СПОРЫ**





**БОРИС
СЛУЦКИЙ**

**НЕОКОНЧЕННЫЕ
СПОРЫ**

**БОРИС
СЛУЦКИЙ**

**НЕОКОНЧЕННЫЕ
СПОРЫ**

С Т И Х И

МОСКВА СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1978

Р 2
С 49

В новую книгу известного советского поэта Бориса Слуцкого вошли стихотворения, написанные им за последние годы. Многие из них публиковались в периодической печати.

С $\frac{70402-236}{083(02)-78}$ 184—78

© Издательство «Советский писатель», 1978 г.

ТАНЕ

Ты каждую из этих фраз
перепечатала по многу раз,
перепечатала и перепела
на легком портативном языке
машинки, а теперь ты вдалеке.
Все дальше ты уходишь постепенно.

Перепечатала, переплела
то с одобреньем, то с пренебреженьем.
Перечеркнула их одним движеньем,
одним движеньем со стола смела.

Все то, что было твердого во мне,
стального,— от тебя и от машинки.
Ты исправляла все мои ошибки,
а ныне ты в далекой стороне,
где я тебя не попрошу с утра
ночное сочиненье напечатать.
Ушла. А мне еще вставать и падать,
и вновь вставать.
Еще мне не пора.

НЕОКОНЧЕННЫЕ СПОРЫ

Жил я не в глухую пору,
проходил не стороной.
Неоконченные споры
не окончатся со мной.
Шли на протяженьи суток
с шутками или без шуток,
с воздеванием к небу рук,
с истиной, пришедшей вдруг.
Долог или же недолог
век мой, прав или неправ,
дребезг зеркала, осколок
вечность отразил стремглав.
Скоро мне или не скоро
в мир отправиться иной —
неоконченные споры
не окончатся со мной.
Начаты они задолго,
за столетия до меня,
и продлятся очень долго,
много лет после меня.

Не как повод,
не как довод,
тихой нотой в общий хор,
в длящийся извечно спор,
я введу свой малый опыт.
В океанские просторы
каплею вольюсь одной.
Неоконченные споры
не окончатся со мной.

ПРОЩАНИЕ

Уходящая молодость.
Медленным шагом уходящая
молодость,
выцветшим флагом
слабо машущая над седой головой.
Уходя,
она беспрерывно оглядывается:
что там делается?
И как у них складывается?
Кто живой?
Кто среди них уже полуживой?

Говорят, уходя — уходи.
В этом случае
уходя — не уйти будет самое лучшее.
Уходя — возвратиться, вернуться
назад.

Уходящая и шаги замедляющая,
все кусты по дороге цепляющая,
уходящая молодость!
Вымерзший сад!

ЖАЛЕЮ ВРЕМЯ, ЧТО ОНО ПРОШЛО

С утра мне было ясно и светло.
Мой день был ясен, и мой вечер светел.
Жалею время, что оно прошло
и не заметило того, что я заметил.

Оно дарило мне за днями дни,
само же всякий отдых отвергало,
в курантах всех вертело шестерни,
колеса всех часов передвигало.

Мне — музыки стремительный зигзаг.
Ему — часов томительный тик-так.
Я — по прямой. Оно же — ходом белки
по кругу вечному вращает стрелки.

А то, что я конечен, а оно
дождется прекращения мирозданья,—
об этом договорено давно.
Я это принимаю без страданья.

Угроза,
в ходе слышная часов,
пружин их ржавых хрипкое
скрипенье
не распугает
птиц моих лесов
и не прервет их радостное пенье.

ВОЗДУХ ПОЛЕТА

Тот воздух, что способствовал парению,
сопротивлялся ускорению.
Он меру знал. Свою. Что было сверху —
он властно отвергал,
и нам свою устраивал поверку,
и отрицал, и помогал.

Но я дышал тем воздухом. Другой,
наверно, мне пришелся б не по легким,
а что полет не оказался легким,
я знал заранее,
не ожидал покой.

Тот воздух
то сгущался в ураган,
вдыхался трудными глотками,
то прикасался ласково к рукам
своими легкими руками.

Вдохнув его
и выдохнув его
давным-давно когда-то, на рассвете,
я не боялся ничего.
Я не боялся ничего на свете!

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Уверенные в себе
по краю ходят, по кромке,
и верят, что в их судьбе
вовек не будет поломки.

А бедные неуверенные,
не верящие в себя,
глядят на них, как потерянные,
и шепчут: «Не судьба!»

Зарядка, холодный душ,
пробежка по зимней роще
способствуют силе душ,
смотрящих на вещи проще.

Рефлексами же заеденные
не знают счета минут:
в часы послеобеденные
себя на диване клянут.

Судьба, она — домоседка.
К ней надо идти самому.
Судьба, она — самоделка,
и делать ее — самому.

Судьба — только для желающих.
Ее разглядишь — сквозь дым
твоих кораблей пылающих,
сожженных тобой самим.

ВОСПОМИНАНИЯ

I

То с несказанными признаньями,
то с незабытыми обидами,
воспоминая несминаемы,
как будто жидкостью пропитаны,
а после снова обработаны
с их радостью и с их тоской,
с непреходящими заботами
в какой-то чудной мастерской.

Едва лишь вспоминать начнешь —
как будто бы землей качнешь,
качнешь планетой под ногами,
и на ходу ли, на бегу
простая истина нагая
встает: дотронуться могу.

Могу дотронуться, коснуться,
узнать: что там, внутри? Вовне?
Потом очнуться и проснуться,
убраться прочь придется мне,

но знаю, что еще верну
без искаженья и сминанья
всю ширину и всю длину,
всю глубину воспоминанья.

II

Воспоминанья лучше вещей.
Я на воспоминанья — кощей.

Я их поглаживаю, перебираю,
я их отвеиваю от шелухи,
я их отлаживаю, перевираю,
я оправляю их лики в стихи.

Вот они, сладкие страшною сладью,
схвачены болью, выжжены страстью.
Трачены молью —
сладкоголосые, как соловьи,
вот они, воспоминанья мои!

САМЫЙ СТАРЫЙ ДОЛГ

Самый старый долг плачу:
с ложки мать кормлю в больнице.
Что сегодня ей приснится?
Что со стула я лечу?

Я лечу, лечу со стула.
Я лечу,
лечу,
лечу...

— Ты бы, мамочка, соснула.—
Отвечает: — Не хочу...

Что там ныне ни приснись,
вся исписана страница
этой жизни.
Сверху — вниз.
С ложки
мать кормлю в больнице.

Но какой ни выйдет сон,
снится маме утомленной:

ЭТО ОН,
ЭТО ОН,
С ЛОЖКИ
НЕКОГДА
КОРМЛЕННЫЙ.

ЖЕНСКАЯ ПАЛАТА В ХИРУРГИИ

Женская палата в хирургии.
Вместе с мамой многие другие.
Восемь коек, умывальник, стол.
Я с кульком, с гостинцами, пришел.

Надо так усесться с мамой рядом,
чтобы не беспокоить взглядом
женщин. Им неладно без меня,
операций неотложных ждущим,
блекнущим день ото дня,
но стыдливость женскую — блюдущим.

Впрочем, за два месяца привыкли.
Попривыкли, говорю, с тех пор!
Я вхожу, а женщины не стихли.
Продолжают разговор.

Женский разговор похож на дождь
обложной. Его не переждешь.
Поприслушаюсь и посижу,
а потом — без церемоний — встану.

Пошучу почтительно и рьяно,
тонкие журналы покажу.

— Шутки и болезнь боится! —
Утверждает издавна больница.

Я сижу и подаю репризы.
Боли, и печали, и капризы,
что печали? —
даже грусть-тоску
с женским смехом я перетолку.

Женский смех звончее, чем у нас,
и серебряней, и бескорыстней.
Скоро и обед, и тихий час,
а покуда, дождик светлый,
брызгни!

Мать, свернувшись на боку,
трогательным сухоньким калачиком,
слушает, как я гоню тоску,
и довольна мною как рассказчиком.

Столик на колесиках привозит
испаряющийся суп,
и сестра заходит, честью просит,
говорит: — Кончайте клуб!

Отдаю гостинцы из кулька.
Получаю новые задания.
Матери шепчу: — Пока.—
Говорю палате: — До свиданья.

ДНЕМ И НОЧЬЮ

Днем рассуждаешь.
Ночью мыслишь,
и годы, а не деньги, числишь,
и меришь не на свой аршин,
а на величие вершин.

Днем загоняем толки в догмы,
а ночью

поважней

ИТОГ МЫ

подводим,
пострашней
итог.

Он прост,
необратим,
жесток.

МИННОЕ ПОЛЕ

Жизнь, конечно, минное поле,
что метафора и не боле,
поле, а на нем трын-трава,
что слова, слова и слова.

Но я на поле, а вокруг
в ящичках зеленоватых
атрибуты батальных схваток —
мины.
На расстоянии рук,
мною протянутых.
Ногу поставлю
как-нибудь не так, как хочу,
и немедленно прорастаю
взрывом
и к небесам лечу.

Я в пехоте,
а мины все —
противопехотные,

то есть
все против меня.
Мины все
прикорнули, ко взрыву готовясь.
Снег сошел только что.
Только что
я сошел
с шоссе на проселок.
И оглядываюсь, как спросонок:
мины! Мины!
Их, может быть, сто.
Тысяча!
Может быть — миллион.
Мины, словно моральный закон,
угрожающий святотатцу.
И не пробуй не посчитаться.

Я не пробую.
Задним ходом
и рассчитывая каждый шаг,
обливаясь холодным пбтом,
оглушаясь звоном в ушах,
преодолевая обвал
нервов,
я отхожу к дороге.
Руки — вот они!
Вот они — ноги!
В минном поле я побывал!

ШКОЛА ВОЙНЫ

Школа многому не выучила —
не лежала к ней душа.
Если бы война не выручила,
не узнал бы ни шиша.

Жизни, смерти, счастья, боли
я не понял бы вполне,
если б не учеба в поле —
не уроки на войне.

Объяснила, вразумила,
словно за руку взяла,
и по самой сути мира,
по разрезу, провела.

Кашей дважды в день кормила,
водкой потчевала и
вразумила, объяснила
все обычаи свои.

Был я юным, стал я мудрым,
был я сер, а стал я сед.
Встал однажды рано утром
и прошел насквозь весь свет.

ЗВЕЗДНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Тишина никогда
не бывает вполне тишиной.
Слышишь звоны? Звезда
громыкает в ночи ледяной.

Зацепилась зубцом
за звезды проходящей обгон.
Вот и дело с концом —
происходит вселенский трезвон.

И набат мировой
объявляет пожар мировой
над моей головой,
от внимания еле живой.

Так и заведенó:
слышать звезд на осях оборот
никому не дано!
Каждый сам это право берет.

Посчастливилось мне —
я услышал совсем молодой
на родной стороне,
как звезда говорит со звездой.

ОСЕНЬ В РАЗГАРЕ

Облетела листва. Сразу стало светлей
между голых, нагих, обнаженных ветвей.

Пурпур с золотом — вся мишура облетела.
Обнажается дерева черное тело.

Ничего, кроме пустоты, между мной
и осеннею синею голубизной.

Между солнцем и мной, между тучей и мной,
между мной и небесною бездной сквозной.

Только черные голые сучья
тянут черные лапы паучьи.

И, блистая на солнце, летит на меня
лава конная синего белого дня.



Закапываю горечь
на глубину души.
Для этого, наверное,
все средства хороши.

Наверное, все способы
годятся для того,
чтобы забыть обиду,
не помнить ничего,

чтобы не помнить факты,
не повторять слова.
Чтоб не душа болела,
болела голова.

РУКИ НА ПОРУЧНЕ

Легла на поручень рука,
и светит голубая жилка,
так упоительно легка
над темной тяжестью затылка.

Я рядом уцепил свою,
и эти руки-сорохваты
вцепились в сталь, словно солдаты
в оборонительном бою.

И мчит сквозь ночь и дождь автобус,
а в нем — сто двадцать человек,
как образ мира,
века образ,—
сквозь ночь,
и дождь,
и мир,
и век.

ОБГОН

А. Межирову

Обгоняйте, и да будете обгоняемы!
Скидай доспех!
Добывай успех!
Поэзия не только езда в незнаемое,
но также снег,
засыпающий бег.

Вот победитель идет вперед,
вот побежденный,
тихий, поникший,
словно погибший,
медленно
в раздевалку бредет.

Сыплется снег,
но бег продолжается.
Сыплется снег,
метель раздражается.
Сыплется, сыплется
снег, снег, снег,
но продолжается
бег, бег, бег.

Снег засыпает белыми тоннами
всех — победителей с побежденными,
скорость
с дорожкой беговой
и чемпиона с — вперед! — головой!

ВЕРА НА СЛОВО

Вот я спрошу любого прохожего,
самого что ни на есть непригожего,
прямо спрошу: «Который час?» —
«Восемь!» —
он честно ответит тотчас.

Как же не верить, если он говорит?
Как же не верить людскому слову,
слову, в котором и метр, и ритм,
слову, в котором и суть, и основа?

Нет! Фонетическая безупречность
правду факта сулит всегда.
Если не так,
то вечность — не вечность,
счастье — не счастье,
беда — не беда.

Ложь — неестественна. Лесть —
неграмматична и бесчеловечна.

А исключенья, конечно, есть.
Есть, говорю, исключенья, конечно.

Но, исключая все исключенья,
с ходу их все отменяя подряд,
чувствую к слову людскому
влеченье.

На слово верю,
когда говорят.

ЛЮБОВЬ К СТАРИКАМ

Я любил стариков и любви не скрывал.
Я рассказов их длительных не прерывал,
понимая,
что витиеватая фраза —
не для красного, остренького словца,
для того,
чтобы высказать всю, до конца,
жизнь,
чтоб всю ее сформулировать сразу.

Понимавшие все, до конца, старики,
понимая любовь мою к ним,
не скрывали
из столбцов
и из свитков своих
ни строки:
то, что сам я в те годы узнал бы едва ли.

Я вопросом благодарил за ответ,
и катящиеся,

словно камни по склону,
останавливались,
вслушивались благосклонно
и давали совет.

ЗАХАРОВА КО МНЕ!

Шестнадцать лет на станции живу
у опоясывающей Москву
дороги,

и пятнадцать лет ночами
пытались все Захарова найти.
По звукоусилительной сети
пятнадцать лет: «Захарова!» —
кричали.

Я прежде обижался, но привык,
что на путях железных и прямых
к Захарову диспетчерá зывают.
Днем не слышать. Но только кончен день,
журят, стыдят и обличают лень,
для спешных объяснений вызывают.

Как вечереет,
с Захаровым беда!
А я его не видел никогда,
но без труда вообразу, представлю,

как слышит он:
«Захарова ко мне!»,
как он ругается
и в стороне
бредет фигура
четкая, простая.

Пятнадцать лет кричали, а потом
замолкли.

О Захарове о том
примерно год ни слуху и ни духу.
Исправился?
На пенсию ушел?
Работу поспокойнее нашел?
Не избежал смертельного недуга?

Как хочется, чтоб он был жив и здоров,
захаровский
чтобы тревожил нрав
в ином краю диспетчера иного.
А если он на пенсии давно —
пускай играет в парке в домино
и слышит:
«Прозевал Захаров снова!»

НАГЛЯДНАЯ СУДЬБА

Мотается по универмагу
потерянное дитя.
Еще о розыске бумагу
не объявляли.
Миг спустя
объявят,
мать уже диктует
директору набор примет,
а ветер горя дует, дует,
идет решительный момент.

Засматривает тете каждой
в лицо:
не та, не та, не та! —
с отчаянной и горькой жаждой.
О, роковая пустота!
Замотаны платочком ушки,
чернеет родинка у ней:
гремят приметы той девчушки
над этажами все сильнее.

Сейчас ее найдут, признают,
за ручку к маме отведут
и зацелуют, заругают.
Сейчас ее найдут, найдут!
Быть может, ей и не придется
столкнуться больше никогда
с судьбой, что на глазах прячется:
нагая, наглая беда.

ВОРОНЬЕ ПЕРО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Не хочется быть справедливым,
а надо! С вороньим отливом,
нечерным, скорей нефтяным,
перо справедливость роняет
и всех, как казарма, равняет —
гиганта с любым остальным.

Перо из травы выпирает,
из чистой зеленой травы,
и лично тебя выбирает
из восьмимиллионной Москвы.

Не хочется. Думалось, давность
твоим порываньям прошла.
Однако жестокая данность
тебя настигает — пера!

Тебе справедливость сронила,
тебя изо всех избрала!
И вдруг появляется сила
на все. На слова и дела.

БЫТЬ ХОРОШИМ ТОВАРИЦЕМ

Это все отпадает — талант и удача,
величавое выраженье лица.
Остается одна небольшая задача:
быть хорошим товарищем.
До конца.

Производство на пенсию отпустило.
Руководство ошибки охотно простило.
Ни обязанности,
ни привязанности
не имеют былой неотвязности.

Но какими удачами ни отоваришься,
как устроиться ни сумеешь в судьбе,—
то по школе товарищи,
то по фронту товарищи
временами напомнят тебе о себе.

По какому-то праву бессрочному правы,
то ли помощи требуя,
то ли любви,

школьников
выплывают из Леты
оравы
и настойчиво требуют: «Позови!»

Не забудь!
Они требуют,
и не забудешь,
если только хорошим товарищем будешь.

Одногодки

Долго жили,
быстро умирали,
но себя ничем не замарали.

Майки были белые.
Трусы —
черные.
Плечи — солнышком копченные.
Подростковые усы.

Брюки были
в клетку и полоску,
а рубашки, как снега, белы.
До зеркального натерты лоску
туфли. Цвета мглы.

А потом — солдатские цвета,
хаки выцветшая простота.
поле с зеленью живою,
солнышко над головою.

ОДИННАДЦАТОЕ ИЮЛЯ

Перематывает обмотку,
размотавшуюся обормотку,
сорок первого года солдат.
Доживет до сорок второго —
там ему сапоги предстоят,
а покудова он сурово
бестолковый поносит снаряд.

По ветру эта брань несется
и уносится через плечо.
Сорок первого года солнце
было, помнится, горячо.
Очень жарко солдату. Душно.
Доживи, солдат, до зимы!
До зимы дожить еще нужно,
нужно, чтобы дожили мы.

Сорок первый годок у века.
У войны — двадцать первый денек.
А солдат присел на пенек
и глядит задумчиво в реку.

В двадцать первый день войны
о столетии двадцать первом
стоит думать солдатам?

Должны!

Ну, хотя б для спокойствия нервам.
Очень трудно до завтра дожить,
до конца войны — много легче.
А доживший сможет на плечи
груз истории всей возложить.

Посредине примерно лета,
в двадцать первом военном дне,
заседает солдат на пне,
и как точно помнится мне —
речь в глазах от сильного света.

БУТЫЛКИ ЛЕТА СОРОК ПЕРВОГО

Звон был о звон, а траектория
напарывалась на траекторию.
Вот так и делалась история,
рассказываю вам которую.

Буылки лета сорок первого
заряжены горючей смесью,
почти что самовозгорающейся
коварной обоудной смертью.

Буылки из-под лимонада
в тот год, в тот самый сорок первый,
перешумели канонаду,
сожгли германский натиск первый.

И танковая сталь разбилась
с буылкой в соприкосновенье,
и долго гарь потом клубилась
мгновеньям тем в повиновенье.

От танковой атаки пылкой
что, кроме дыма или чада,
осталось?
Был боец с бутылкой,
с бутылкой из-под лимонада.

ЗВУКОВАЯ ИГРА

**Я притворялся танковой колонной,
стальной, морозом досиня каленной,
непобедимой, грозной, боевой,—
играл ее, рискуя головой.**

**Я изменял в округе обстановку,
причем имея только установку
звукосигнальную на грузовике,—
мы действовали только налегке.**

**Страх и отчаянье врага постигнув,
в кабиночку фанерную я лез
и ставил им пластинку за пластинкой —
проход колонны танков через лес.**

**Колонна шла, сгибая березняк,
ивняк, дубняк и всякое такое,
подскакивая на больших корнях —
лишая полк противника покоя.**

С шофером и механиком втроем
мы выполняли полностью объем
ее работы — немцев отвлекали,
огонь дивизиона навлекали.

Противник настоящими палил,
боекомплекты боевые тратил,
доподлинные деревца валил,
а я смеялся: ну, дурак, ну, спятил!

Мне было только двадцать пять тогда,
и я умел только пластинки ставить
и понимать, что горе не беда,
и голову свою на карту ставить.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Молодому поэту казалось, что я был всегда.
Молодому поэту казалось, что мне хорошо.
Между тем, между тем, между тем
он счастливей меня.

Лучше юная зависть, чем старый успех.
Лучше юная неудача во всем,
чем такая законченность, когда закончено все
и не хочется начинать ничего.

Я могу ему дать совет. Я могу позвонить.
Я, конечно, замолвлю словцо.
Он, конечно, не может мне подарить ничего,
кроме гула в стихах.

Может быть, он бездарен, но бездарь его молода.
Может быть, он завистлив, но зависть его молода.
Может быть, он несчастен. Его молодая беда
лучше десятилетий удач и труда.

Потому что начало счастливей конца. Потому
что мне нечего, нечего выдать ему,
кроме старой сентенции, легкой, как дым,
что не мне хорошо. Хорошо — молодым.



Привычка
записывать сны —
при спичке,
при свете луны,
при отблеске фонаря,
неверной спросонок рукою!
Образовалось не зря
обыкновенье такое.

Покудова сон не забыт,
из Леты едва только вынут,
пока не засунут за быт,
за явь до конца не задвинут,
он — рифмы реальности.
Он
и небо в руке — отраженье.
Он — вечных трудов и времен
мгновенное преображенье.
Не наши ли вещи сны
в случайной своей красоте
в стихах повторены,
запечатлены на холсте?

ДИАГОНАЛЬ-МАТУШКА

В коммунальной небольшой квартире,
в комнате четыре на четыре
метра, по ее диагонали
метров выходило много боле,
и стихи по ней меня гоняли,
по диагонали, словно в поле.

Словно в диком поле дикий ветер,
начинал я дикое движенье
на рассвете диком, на рассвете:
постижение и преображение
в мерные, ритмические фразы,
типа регулярного пожара,
всякого, что, наплывая сразу,
упорядоченью подлежало.

За стеною тонкою стонали
не доспавшие свое соседи,
потому что по диагонали
двигался я шумно на рассвете,
и стучали кулаками в стену,
скорую расправу обещая.

Но выдерживал я эту сцену,
шага ни на миг не прекращая.
Знал я: у историка в аннале
этот спор в мою решится пользу,
лишь бы только по диагонали
дошагать бы, не меняя позы,
не теряя ни отмашки нервной
кулаком, ни шелеста печали.

В потолок за этот шелест гневно
с нижнего мне этажа стучали.

Был бы путь извилист или кругл —
не мечтать бы даже о победах.
Только этот — из угла да в угол.
Из угла да в угол — только эдак!

Я хочу, чтоб люди твердо знали,
как я до своих успехов дожил,
чем обязан я диагонали,
что ей, матушке родимой, должен.

ПРЕТЕНЗИЯ К АНТОКОЛЬСКОМУ

Ощущая последнюю горечь,
выкликаю сквозь сдавленный стон:
виноват только Павел Григорьич!
В высоту обронил меня он.

Если б он меня сразу отвадил,
отпугнул бы меня, наорал,
я б сейчас не долбил, словно дятел,
рифму к рифме бы не подбирал.

С безответственной доброю
и злодейским желаньем помочь,
оделил он меня высотой,
ледяною и черной, как ночь.

Контрамарку на место свободное
выдал мне в переполненный зал
и с какой-то ужасной свободою:
— Действуй, если сумеешь! — сказал.

Я на той же ошибке настаиваю
и свой опыт, горчайший, утаиваю.
Говорю: — Тот, кто может писать, —
я того не желаю спасти!

НЕПРИВЫЧКА К СОЗЕРЦАНИЮ

Не умел созерцать. Все умел: и глядеть,
и заглядывать,
видеть, даже предвидеть, глазами мерцать,
всматриваться, осматриваться,
взором охватывать
горизонт.
Все умел.
Не умел созерцать.

Не хватало спокойствия, сосредоточенности.
Не хватало умения сжаться и замереть.
Не хватало какой-то особой отточенности,
заостренности способа
видеть, глядеть и смотреть.

И у тихого моря с его синевой миротворною,
и у бурного моря с его стоэтажной волной
остальная действительность
с дотошностью вздорною
не бросала меня,
оставалась со мной.

А леса, и поля, и картины импрессионистов,
и снега, застилавшие их своей белой тоской,
позабыть не заставили,
как, обречен и неистов,
вал морской
разбивался о берег морской.

Я давал себе срок, обрекая на повиновение
непоспешному времени,
но не хватало меня.
Я давал себе век, но выдерживал только мгновение.
Я давал себе год,
не выдерживал даже и дня.

И в итоге итогов
мне даже понравилась
населявшая с древности эти места
суета,
что со мною боролась и справилась,
одолевшая, победившая меня суета.

УРОКИ МУЗЫКИ

Любовь моя
музыкой не разделена,
и страсть моя к ней
не имеет ответа.
Но где она, страсть безответная эта?
В рояле она.

То белая кость,
то черная кость,
молчанье перемежает звучанье.
Я трогаю клавиши
вкривь и вкось.
Я добиваюсь только мычанья.

Бывает же
абсолютный слух!
Неплохо и с относительным слухом.
Я — глух.
Я — безотносительно глух.
Куда мне с моим стремленьем глупым!

И сколько бы мне ни мотать головой,
не выжимается песня живая,
и я выбиваю то лязг, то вой,
и только музыки не выжимаю.

Она у иных,
 как птица, с руки
клевала
 и, наклевавшись, звучала.

Сожму кулаки,
разожму кулаки,
начну, как советуют, прямо с начала.

Начну.
И еще раз начну.
И еще.
Начало начнет.
Продолженье подскажет.
И что-то усаживается на плечо
и крыльями
над головою
машет.

НА ЭТЮДАХ

Начинаются солнца эффекты
на снегу.

На зальдевшем пруду.

Тютчева бы сюда или Фета!

А покуда и сам я иду,
чтобы кистью своей

дилетантской
написать все, что видится мне,
зафиксировать легкие танцы
золотистости на белизне.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИРИКИ

Лирика — отсебятина.
Хочется основательно
все рассказать о себе
и о своей судьбе.

Лирика — околесица:
так шумна и пестра.
Кроме того, она лестница
в душу твою со двора.

Лирика — суматоха.
Лирика — дребедень.
Кроме того, она вздоха
воздуха
 верная тень!

С берега до берега
ночью пробег по мостам!
Лирика эмпирика
учит общим местам.

Учит к словам забытым
вдруг проявлять интерес.
Лирика вся — за бытом,
словно за городом лес.

Вдруг раскрываются двери
из теплыни в ледынь.
Лирика вся: не верю,
что не чета молодым.

ПЕРЕПРОБЫ

Перепробы. Переперепробы.
Сутки целые не снимешь робы.

Щец горячих запах позабудешь,
если перепробу делать будешь.

Солнышко — и то мимо проходит,
если перепроба не выходит.

Но зато едва удастся опыт,
только-только выйдет, выйдет он,—

явственно листвы услышишь шепот
и лучей — по стеклам — тихий звон.

РИТМ МАЯКА

Четыре с половиной секунды света,
четыре с половиной секунды тьмы,
потом полторы секунды света,
потом полторы секунды тьмы —

и снова:

четыре с половиной секунды света,
четыре с половиной секунды тьмы.

Гасит солнце устройство это.
Тьма зажигает его средь тьмы.

Когда-нибудь этот ритм и мы —
его вопросы, его ответы —
усвоим, избежав кутерьмы:
четыре с половиной секунды света,
четыре с половиной секунды тьмы.

РЫБЫ В СЕТИ

Серебро звенит звонче золота —
звонче звон и блистательней блеск.
Точно так же, свежо и молодо,
рыбы
 плещут свой плеск.

Сеть сияниями переполнена,
словно небо верткими молниями,
и в жестоком подобье игры
вьются, бьются эти миры.

Звезды тоже перед гибелью
вспыхнут, вечную тьму озарив.
Рыбы пляски кончают рыбы,
плавники в ячеи зарыв.

И покуда
 с небосвода
их лучей припекает сонм,
потускневшие от несвободы,
рыбы
 погружаются в сон.

ДВИЖЕНИЕ ОБЛАКОВ

Скажу без обиняков
и доказать смогу:
движение облаков
нельзя наблюдать на бегу.

Но, возлежа на спине
и на одном из боков,
следить удавалось мне
движение облаков.

Я на спине возлежал,
но я душой воспарял
и от восторга дрожал,
лишь в небо глаза вперял:

сквозь кислород, азот
и неизвестно куда,
затягивая горизонт,
шли облаков стада.

Отряхивая шерсть,
застрявших рос не щадя,
они вызывали шесть
различных видов дождя,

а разойдясь по углам
небес, по всем четырем,
показывали сверх программ
то солнышко, то гром

или же — синеву
такой голубизны,
что кажется вам наяву
концентрат весны.

Весною даль легка
и до того широка,
что как ни плывут облака,
не проплывут облака.

ЦЕПНАЯ ЛАСТОЧКА

Я слышу звон и точно знаю, где он,
и пусть меня романтик извинит:
не колокол, не ангел и не демон,
цепная ласточка
железами звенит.

Цепная ласточка, а цепь стальная,
из мелких звеньев, тонких, но стальных,
и то, что не порвать их,— точно знаю.
Я точно знаю —
не сорваться с них.

А синева, а вся голубизна!
О, как сиятельна ее темница!
Но у сияния свои границы:
летишь, крылом упрешься,
и — стена.

Цепной, но ласточке, нет, все-таки цепной,
хоть трижды ласточке, хоть трижды птице,
ей до смерти приходится ютиться
здесь,
в сфере притяжения земной.

ВЫГОН

Травы — запахи земли,
в листья воплощенные и корни.
К ним по случаю весны пошли
вдумчиво принюхиваться кони.

Распахнули ноздри, как ворота.
Чуют что-то.
Понимают что-то.

С темной конскою душой
темная душа земная
разговор ведет большой,
но о чем — не знаю.

ГОЛОСА ДУШИ И ТЕЛА

Приказывало тело, а душа
подсказывала тихо, еле-еле,
покудова, волнуясь и спеша,
кричало тело о себе, о теле.

Оно было большое, а душа
была такую малой и несчастной,
что и на кончике карандаша
могла с большим удобством размещаться.

И зычный голос тела заглушал
все грохоты, и топоты, и шепоты,
а тонкий голосок души плошал,
и если предлагал, то в виде опыта.

НЕ ЛЕЗЬ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Не лезь без очереди. Очередь — образ
миропорядка.
Бесспорная доблесть,
презрев даже почесть,
отбросив лесть,
без очереди — не лезть.

Не лезь без очереди.
Хотя бы ради
хлебной очереди в Ленинграде,
где молча падали в тихий снег,
но уважали — себя и всех.

И атомы в малой,
и звезды в большой
Вселенной
очередность блюдут.
Так что же ты лезешь!
С бессмертной душой
ждутся все,
кто честно ждут.

СМЕРТЬ ВРАГА

Смерть врага означает, во-первых,
что он вышел совсем из игры,
так жестоко плясавший на нервах
и мои потрясавший миры.

Во-вторых же,
и в-третьих,
и в-главных,
для меня значит гибель его,
что, опять преуспев в своих планах,
смерть убила еще одного.

Он был враг не земли и не века,
а какой-то повадки моей.
На еще одного человека
в человечестве
меньше людей.

ВСЕ ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ СОВЕСТИ

Говорят, что огромные, многотонные самосвалы
потихоньку проскальзывают
навалы,
обвалы,
кладбища
автомобильных частей,
что доказывает наличие чести
вместе с совестью,
также и с памятью вместе,
даже у машин,
даже в век скоростей.

Совесть с честью, конечно, меняются тоже,
но куда тебя потрясает до дрожи
не своя, не жены,
а чужая беда —
не утратили доблести и геройства
человекоустройство
и мироустройство,
а душа осязаема, как всегда.

**А душа вещественна, когда она есть,
и невидима, если ее замарали,
и свои очертанья имеет честь,
и все три измерения есть у морали.**



Не сказануть — сказать хотелось.
Но жизнь крутилась и вертелась —
не обойти, не обогнуть.
Пришлось, выходит, сказануть.

Попал в железное кольцо.
Какой пассаж! Какая жалость!
И вот не слово, а словцо,
не слово, а словцо
сказалось.

ПЛАНИРУЯ, НЕ ЗАРЫВАЙСЯ!

Планирование подкачало.
Все думал: самое начало.
Все думал: разбегусь, взлечу
и долечу, куда хочу,
и сделаю любое дело!

И с двух концов палил свечу.
И с двух концов свеча горела.

Свеча горела с двух концов
и кончилась в конце концов,
и свет погас,
и воск истаял.
Задача, что себе он ставил,
до сей поры не решена.
Беда его или вина,
но нет! Не решена она.

Планируя, не зарывайся
и от земли не отрывайся.

**Скрывайся в облачной дали
и выбивайся в короли,
не отрываясь от земли.**

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ ВРЕМЕНИ!

Попадись мне машина времени!
Я бы не к первобытному племени
полетел,
на костров его дым,
а в страну, где не чувствуешь бремени
лет,
где я бы стал молодым.

Вот он, Харьков полуголодный,
тощий, плоский, словно медаль.
Парусов голубые полотна
снова мчат меня в белую даль.

Недостатка, недоработка,
недовес: ничего сполна,—
но под парусом мчится лодка,
ветром юности увлечена.

Харьков. Мы на велосипедах,
этих вовсе еще не воспетых
междувременья лошадях,
едем на его площадях.

Харьков. Мы в его средних школах:
то вбиваем в ворота гол,
то серчаем в идейных спорах,
то спрягаем трудный глагол.

Харьков. Очереди за хлебом.
Достою ли?
Достанется ли?
Но зато — под высоким небом,
посреди широкой земли!

Плохо нам,
но мы молодые.
Холодынь и голодынь
переносят легко молодые,
потому что легко молодым.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БОКС

Били в морду — в мою, между прочим!
Били в зубы, кровавили нос.
Впрочем, молодость не опорочим,
не обидим любительский бокс.

В это давнее лето казалось
все отчетливей день ото дня,
что сама справедливость касалась,
кулаком доставала меня.

Побеждали сильнейшие. Слабый,
окруженный мучительной славой
поражения, тихо, как тать,
уходил о победе мечтать.

Можно было потренироваться,
поднапрячься и не зарываться,
поработать, пойти на реванш.
Если вы заслужили, он — ваш.

С той поры либо били меня —
я же даже не сопротивлялся,—
либо я как-нибудь исхитрялся
и, по рингу партнера гоня,

не умеющего ничего,
потерявшего силу и доблесть,
бил его, бил его, бил его
в зубы, в нос и в брюшную полость

и старался

неосторожно

не припомнить,

зажмурив глаза,

что в любительском боксе можно,
что в любительском боксе нельзя.

ОЧЕНЬ МНОГО САПОЖНИКОВ

Много сапожников было в родне,
дядями приходившихся мне —
ближними дядями, дальними дедами.
Очень гордились моими победами,
словно своими и даже вдвойне,
и угощали, бывало, обедами.

Не было в мире серьезней людей,
чем эта знать деревянных гвоздей,
шила, и дратвы, и кожи шевро.
Из-под очков, что через переносицу
жизнь напролет безустанно проносятся,
мудро глядели они и остро.

Сжав в своих мощных ладонях ножи,
словно грабители на грабежи,
шли они — славное войско — на кожу.
Гнули огромные спины весь день.
Их, что отбросили долгую тень
на мою жизнь, забывать мне негоже.

Среднепоместные, мелкопоместные
были писатели наши известные.
Малоизвестным писателем — мной,
шумно справляя свои вечеруши,
новости обсуждая и слухи,
горд был прославленный цех обувной.

ПОЛЬЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ

Не слушал я, что физик говорил,
и физикой мозги не засорил.
Математичка пела мне, старуха,
я слушал математику вполуха.

Покуда длились школьные уроки,
исполнились науки старой сроки,
и смысл ее весь без вести пропал.
А я стишки за партою кропал.

А я кропал за партою стишки,
и весело всходили васильки
и украшали без препон, на воле,
учителями паханное поле.

Голубизна прекрасных сорняков
усваивалась без обиняков,
и оказалось, что совсем не нужно
все то, что всем тогда казалось нужно.

Ньютон-старик Эйнштейном-стариком
тогда со сцены дерзко был влеком.
Я к шапочному подоспел разбору,
поскольку очень занят был в ту пору.

Меняющегося мироздания грохот,
естественниками проведенный опыт
не мог меня отвлечь или привлечь:
я слушал лирики прямую речь.

КАКОЙ ПОЛКОВНИК!

Какой полковник! Четыре шпалы!
В любой петлице по две пары!
В любой петлице частокол!
Какой полковник к нам пришел!

А мы построились по росту.
Мы рассчитаемся сейчас.
Его веселье и геройство
легко выравнивает нас.

Его звезда на гимнастерке
в меня вперяет острый луч.
Как он прекрасен и могуч!
Ему — души моей восторги.

Мне кажется: уже тогда
мы в нашей полной средней школе,
его

вверяясь
мощной воле,
провидели тебя, беда,

провидели тебя, война,
провидели тебя, победа!

Полковник нам слова привета
промолвил.
Речь была ясна.

Поигрывая мощью плеч,
сияя светом глаз спокойных,
полковник произнес нам речь:
грядущее предрек полковник.

СТИРКА ГИМНАСТЕРКИ

Медленный, словно лужа, ручей.
Тихий и сонный ручей без речей.
Времени не теряя,
в нем гимнастерку стираю.

Выстираю, на себя натяну,
на́ небо неторопливо взгляну,
на в головах стоящее
солнышко настоящее.

Долго болталось оно подо мной
в мыльной и грязной воде ледяной.
Надо ошибку исправить
и восвоеси отправить.

Солнышко, выскочивши из воды,
без промедленья взялось за труды:
в жарком приливе восторга
сушит мою гимнастерку.

. Веет медлительный ветерок,
стелется еле заметный парок,
в небо уходит, отважный,
с ткани хлопчатобумажной.

СОБАКА С МИНОЙ НА ОШЕЙНИКЕ

Хмурая военная собачка
с миной на ошейнике идет.
Собачей в расстегнутой рубашке
за собой ее ведет.

Жарко. До войны не далеко
и не близко. Километров десять.
Цепку дернул собачей легко:
надо псу немедля что-то взвесить.

Все живые существа войны —
лошади, и люди, и собаки —
взвешивать немедленно должны,
ни к чему им тары-бары.

По своим каналам информации —
ветер, что ли, сведения нанес —
перспективы для собачьей нации
знает этот хмурый, хмурый пес.

ВЕДРО ВИШНИ

Пробирается солдат ползком
и ведро перестоявшей вишни,
на передовой отнюдь не лишней,
волочит простреленным лужком.

Солнце жжет, а пули жжик да жжик.
Вишня брызнула горячим соком.
Но в самозабвении высоком
говорит он: — Потерпи, мужик!

Перестаивает война.
К ней уже привыкли.
Притерпелось.
А расчету вишни захотелось,
пусть перестоявшей.
Вот она:

черная, багровая, а сок
так и норовит оставить пятна.
До чего же жизнь приятна!
До чего же небосвод высок!

Вел,
и слушали его живые,
и к погибшим
залетал во сны.
Заглушив оркестры духовые,
стал он
главной музыкой
войны.

НОВОЕ ВЫРАЖЕНЬЕ ЗЕМЛИ

Кое-что перестроили,
что-то снесли —
архитекторы любят лихие решенья,
и теперь не узнать выраженья земли,
как, бывало, лица не узнать выраженья.

Как сжимала тяжелые зубы война!
Так, что лопались губы от крови соленой.
А теперь веселее пошли времена,
и земля улыбнулась улыбкой зеленой.

Горе горечью наливало глаза
и мотало хмельною с тоски головою.
А теперь пролетает легко стрекоза
над легчайшей и шелковистой травой.

Этот пункт был на карте.
На мушке он был.
Был он в прорези неумолимой прицела.
А теперь его юношей дерзостный пыл
восхищает и тешит меня то и дело.

Не узнать эту местность
на местности той,
где дымок
из единственной печки струился,
бело-серый стремился дымок извитой,
прямо в небо
из печки торжественно вился.

НОВОЕ ПАЛЬТО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Мне приснились родители в новых пальто,
в тех, что я им купить не успел,
и был руган за то,
и осмеян за то,
и прощен,
и все это терпел.

Был доволен, серьезен и важен отец —
все пылинки с себя обдувал,
потому что построил себе наконец,
что при жизни бюджет не давал.

Охорашивалась, как молоденькая,
все поглядывала в зеркала
добродушная, милая мама моя,
красовалась, как только могла.

Покупавший собственноручно ратин,
самый лучший в Москве матерьял,
словно авторы средневековых картин,
где-то сбоку
я тоже стоял.

Я заплакал во сне,
засмеялся во сне,
и проснулся,
и снова прилег,
чтобы все это снова привиделось мне
и родителей видеть я смог.

ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ

Сыновья стояли на земле,
но земля стояла на отцах,
на их углях, тлеющих в золе,
на их верных стареньких сердцах.

Унаследовали сыновья,
между прочих
в том числе
и я,
выработанные и семьей, и школою
руки хваткие
и ноги скорые,
быструю реакцию на жизнь
и еще слова:
«Даешь! Держись!»

Как держались мы
и как давали,
выдержали как в конце концов,
выдержит сравнение едва ли
кто-нибудь,
кроме отцов,—

тех, кто поднимал нас, отрывая
все, что можно,
от самих себя,
тех, кто понимал нас,
понимая
вместе с нами
и самих себя.

ЧЕРТА МЕЖ ДАТАМИ

Черта меж датами двумя —
река, ревущая ревмя,
а миг рожденья — только миг,
как и мгновенье смерти,
и между ними целый мир.
Попробуйте измерьте.

Как море меряет моряк,
как поле меряет солдат,
сквозь счастье меряем и мрак
черту
меж двух враждебных дат.

Черта меж датами —
черта меж дотами,
с ее закатами,
с ее высотами,
с косоприцельным
ее огнем
и в ночь переходящим днем.

ТРЕТЬЯ ПАМЯТЬ

Сначала она означала
обычные воспоминания,—
как в кинозале, мчала
кадры, кадры, кадры.

Но кадры сместились, сгустились,
сплотились, перевоплотились
в густые и горькие чувства
и в легкие, светлые мысли.

Сейчас, по третьему разу,
память — половодье,
но в центре водоворота
моя небольшая щепка,

ухваченная цепко
жестокосердой волною.
Делает все, что хочет,
третья память со мною.

ТЯЖЕЛАЯ ЛЕГКОСТЬ

За тяжелую легкость — истребителя или эсминца,—
с поворотами, схожими с оборотом Земли,
полюбились мне велосипедные спицы,
в раннем детстве еще за собой увлекли.

А за легкую тяжесть — луча или ветра —
полюбил, когда стал выходить постепенно в тираж,
скорость автопробега, мотающего километры,
словно мерную ленту, выбрасывающего
километраж.

И тяжелая легкость, и легкая тяжесть
для начала
пункт А
с пунктом Б
для вас свяжет.

А потом, как привыкнешь,
так и не отвыкнешь,
и, исполненный молодого огня,
сядешь даже в такси
и воинственно гикнешь,
словно сел на коня.

СТАРЫЙ СПУТНИК

Словно старый спутник, забытый,
отсигналивший все сигналы,
все же числюсь я за орбитой,
не уйду, пока не согнали.

Словно сторож возле снесенного
монумента «Свободный труд»,
я с поста своего полусонного
не уйду, пока не попрут.

По другому закону движутся
времена. Я — старый закон.
Словно с ятью, фитою, ижицей,
новый век со мной не знаком.

Я из додесятичной системы,
из досолнечной, довременной.
Из системы, забытой теми,
кто смеется сейчас надо мной.

Таланту не завидовал. Уму —
тем более. Ни в чем и никому:
не более меня вы все успели.
Завидовал, что ваши песни пели.
Бывалоча, любимая родня,
застольничая, выпросит меня,
и отповедь даю ей тотчас с жаром,
что связан с более серьезным жанром.
А между тем серьезней жанра нет.
И кто там композитор, кто поэт —
неважно. Важно, чтобы хором дружным
ревели песню ураганом вьюжным.
А кто поэт и композитор кто —
не столь существенно. Они зато,
в сторонке стоя, — вылезать не надо, —
безмолвно внемлют песни водопаду,
покуда текст и музыку поют.

ПРОЩЕНИЕ

Грехи прощают за стихи.
Грехи большие —
за стихи большие.
Прощают даже смертные грехи,
когда стихи пишу от всей души я.

А ежели при жизни не простят,
потом забвение с меня скостят.

Пусть даже лихо деют —
вспоминают
пускай добром,
ни чем-нибудь.
Прошу того, кто ведает и знает:
ударь, но не забудь.
Убей, но не забудь.

СПОСОБНОСТЬ КРАСНЕТЬ

Ангел мой, предохранитель!
Демон мой, ограничитель!
Стыд — гонитель и ревнитель,
и мучитель, и учитель.

То, что враг тебе простит,
не запомнит стыд.

То, что память забывает,
не запомнит срам.
С ним такого не бывает,
точно говорю я вам.

Сколько раз хватал за фалды!
Сколько раз глодал стозевно!
Сколько раз мне помешал ты —
столько кланяюсь я земно!

Я стыду-богатырю,
сильному, красивому,

говорю: благодарю.
Говорю: спасибо!

Словно бы наружной совестью,
от которой спасу нет,
я горжусь своей способностью
покраснеть, как маков цвет.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Фотография старая.
Я на ней — молодой.
Фотография блеклая.
Я на ней бодрый.
Фотографию словно живую водой
окропили.
Меня словно вымыли в мертвой.

От себя
это будущее отстраня,
в буре чувств,
обоснованных и настоящих,
фотография
отодвигает меня
и закладывает
в дальний ящик.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНТУИЦИЯ

В загатнике души
всегда найдется
лихая вера
в то, что обойдется,
что выручат,
помогут и спасут,
что Страшный суд
не очень страшный суд.

Вся информация
против того,
но интуиция — вот дура — почему-то
подсказывает: «Ничего!
Устроится в последнюю минуту».

И как подумаешь,
то, несмотря
на логику,
на всю ее амбицию,
нас информация пугала зря
и верно ободряла интуиция,

и все устроилось
в последний час,
наладилось, образовалось,
с какими цифрами подчас
к нам информация
усердно
ни совалась.

НА ПОЛЯХ ПОСЛОВИЦЫ

Перемелется — будет мука.
Но покуда — не перемальвается,
а марается и перемарывается.
Что-то вроде черновика.

Все то мерится,
то перемеривается,
с каждым годом все тяжелей,
но потом, когда перемелется,
будет снега белей.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ

О счастливые и невозвратимые
все четыре времени нашей жизни!
Вы не только счастливы —
вы невозвратимы.
Вы — не лето с осенью, зимою, весною:
нет вам даже однократного повторенья.
Вы необратимы, как международная разрядка.
Вы приходите, проходите, не приходите снова.
Все. Точка. В просторечии — крышка.

Детство —
иные выделяют отрочество,
но это только продленное детство,
детство, пора узнавания,
в твоих классах
нет второгодников —
не спеши. Ни к чему торопиться.

Юность — иные выделяют молодость,
но это одно и то же,
юность,
пора кулачной драки с жизнью,—

твои пораженья блаженны
так же, как твои победы.
Этих ран, этих триумфов
никогда не будет больше.
Все твои слезы — слезы счастья,
но это последние счастливые слезы.
Не спеши. Ни к чему торопиться.

Зрелость — пора, когда не плачут:
времени нету.
Время остается только для свершений.
Зрелость,
пора свершений,
у твоей империи оптимальные границы.
Позднее придется только сокращаться.
От добра добра не ищут,
а если ищут — не находят,
а если находят — оно проходит
еще быстрее, чем проходит зрелость.
Не спеши, зрелость! Ни к чему торопиться.

Старость,
счастливейшее время жизни!
Острота воспоминаний
о детстве, юности, зрелости
острее боли старческих болезней.
Болезненно острое счастье воспоминаний —
единственно возможная обратимость
необратимых, как международная разрядка,
трех предварительных времен жизни.
Не спеши. Ни к чему торопиться.
Не спеши. Почему — сама знаешь.

БОЯЗНЬ СТРАХА

До износу — как сам я рубахи,
до износу — как сам я штаны,
износили меня мои страхи,
те, что смолоду были страшны.

Но чего бы я ни боялся,
как бы я ни боялся всего,
я гораздо больше боялся,
чтобы не узнали того.

Нет, не впал я в эту ошибку,
и повел я себя умней,
и завел я себе улыбку,
словно сложенную из камней.

Я завел себе ровный голос
и усвоил спокойный взор,
и от этого ни на волос
я не отступил до сих пор.

Как бы до смерти мне не сорваться,
до конца бы себя соблюсть
и не выдать, как я бояться,
до чего же бояться
 боюсь!

НОЧНЫЕ СТРАХИ

Солнце, страстное и ясное,
светит, греет во всю мочь.
Непонятное и страшное
вновь откатывается в ночь.

Под светлейшими лучами
день — в начале,
жизнь — в начале,
мир — в начале,
прост и мил,
ясен и понятен мир.

Что же я понять не смог?
Как меня пугать посмели?
Непонятен страх, как бог,
и раздут в такой же мере.

До чего она длинна,
до чего светла дорога
дó ночи и дотемна,
и до страха,
и до бога!

Постараюсь крепко спать,
ничего во сне не видеть,
ничего во сне не слышать,
утром день начать опять.

ПОДЪЕМ

Это время нулевого цикла.
Вялая и сонная душа
за ночь к ночи хорошо привыкла —
покидает не спеша.

Ты ее то помазком помажешь,
то радиопесней ублажишь,
порекомендуешь и подскажешь:
покидайте темноту и тишь.

Но привычна и блаженна косность
сна,
и оставлять родную тьму,
ночи хаос обменять на космос
дня
душе, наверно, ни к чему.

Тем не менее кончать с нирваной,
сюрреалистической и рваной,
надо!
Суну голову под кран,
ночи вымою последний грамм!

Утро, укорачивая тени,
солнце синевую облекло.
То, что было темью, темью, темью,—
все теперь светло, светло, светло.

ПО ТРУБЕ

Труба поет с утра.
А что она поет?
Она поет: пора!
Она поет: вперед!
Она поет: вставай
и приступай к труду.
Вставай и план давай!
Я слушаю трубу.

Я по трубе вставал,
слегка трубе пенял,
но все же план давал
и перевыполнял.
Сперва — едва-едва.
Потом — гляди-смотри!
Бывало и сто два
процента, и сто три.

Кто по гудку встает,
кто по звонку встает,

а мне — труба поет,
заспать не дает.
И серебрится звук,
седой, как виноград,
и для умелых рук
как будто нет преград.

БОЛЬНИЦА

**Я проснулся от сильной боли
и почувствовал: я живу!
Мне еще ходить через поле
и покачиваться на плаву.**

**Я до самой смерти бессмертен!
До конца бесконечен я,
и мой жребий еще не измерен,
как там ни искалечен я.**

**Ты, боли, моя боль, и мучай,
осыпай в мою рану соль.
Это тот особенный случай,
когда может спасти только боль.**

**Всех скорбей конец знаменуя,
все печали мои утоли!
Смерть и гибель с тобой обману я.
Ты боли, моя боль, боли!**

И болела! И ныла после.
Тяжело! А потом — налегке.
И лежали мы боли возле,
муки около. Невдалеке.

И, привыкшие к привыканью,
вовлеклись мы вновь в бытие,
и бинты нашу кровь промокали
и задерживали ее.

Мы кроссворды решать приучились!
А потом научились ходьбе,
и весенние дни лучились,
нам суля перемену в судьбе.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Выздоровливающий обнаруживает
за больничным окном — апрель!
А весна всегда обнадеживает
всех времен и сезонов скорей.

Выздоровливающий тщится, мается
и топорщится грустной совой,
но потом приподымается
над подушкой
и над судьбой.

Небо, прежде
стылое, зимнее,
стало ныне
милое, синее!

И какая-то птица поет,
и блестит на солнце жестянка,
и какие-то шансы дает
выздоровливающему
жисть-жистянка.

И он чувствует
ясно, четко:
«Я еще и май посмотрю!»
И он шепчет няне-девчонке,
громко шепчет:
— Благодарю!

И ВИЛКИ, И ЛОЖКИ

Несколько раз начинавший сначала,
помню в подробностях, что означало
снова, сначала начать и с нуля,
с купли в рассрочку и ложек, и вилок.
Впрочем, я был тогда молод и пылок,
на небо лез, звездной пылью пыля.

Снова за вилками-ложками сунусь
и о рассрочке опять попрошу.
Может быть, пылкость вернется
и юность
вновь подойдет к моему рубежу?
Ложкой всю выхлебаю беду.
Вилкой на донце удачу найду.

Ложка никелированная,
к пиру опять уготованная!
Вилка, четырехзубое чудо!
Снова тобою тыкать я буду.
Ложкой — всю выхлебаю беду.
Вилкой — на донце удачу найду.

ОЧЕРЕДНОЙ ОТПУСК

Укрепляет морское купанье,
а копанье в горячем песке
отвлекает от самокопанья
и от жилки, стучащей в виске.

Ритмом пляжа: с берега в море,
а с волны — в песок же опять —
быстро заглушается горе,
начинаешь и есть, и спать.

Эти дни, когда люди, как крабы,
кончив с горем, порвав с тоской,
счастливы потому и правы,
что на солнце лежат день-деньской,

эти долгие дни — с рассвета
до заката и после: часа
два, а может быть, три!
Полоса
дней, горячих средь жаркого лета!

И в пролом в годовой стене
вижу у горизонта на скате
белый-белый прогулочный катер
в красном-красном закатном огне.

НАЧАЛО ОСЕНИ

Тир закрыт третий день.
Верный признак,
что на склоне купальный сезон.
Но в торговых стеклянных призмах —
солнца звон.

Светом, лаковым солнцем залиты
все торговые точки подряд:
греть, светить не устало за лето
и воспитывать виноград.

Дни еще горячи, горячи.
Ночи?
Ночи прозябли до дрожи,
и луны ледяные лучи
с каждой ночью все строже.

И медлительно, не торопясь,
как большое людское горе,
остывает Черное море,
и теряется с летом связь

у отары жемчужного цвета,
догрызающей корни травы,
и у облачной синевы,
и у рощи,
что ветром раздета,
разоблачена донага,
рощи,
листьями не светящейся,
и у черной волны
в берега,
тоже черные,
колодящейся.

ОСЕННИЙ ОТСТРЕЛ СОБАК

Каждый заработок благороден.
Каждый приработок в дело годен.
Все ремесла равны под луной.
Все профессии — кроме одной.

Среди тысяч в поселке живущих,
среди пьющих, среди непьющих,
не берущих в рот ничего, —
не находится ни одного.

Председателю поссовета
очень стыдно приказывать это,
но вдали, километрах в шести,
одного удастся найти.

Вот он: всю систему пропорций
я в подробностях рассмотрел!
Негодяй, бездельник, пропойца,
но согласен вести отстрел.

А курортные псы веселые,
вежливые бесхозные псы,
от сезонного жира тяжелые,
у береговой полосы.

Эти ласковые побирушки,
доля их весьма велика —
хоть по капле с каждой кружки,
хоть по косточке с шашлыка.

Кончилась страда поселковая.
И пельменная, и пирожковая,
и кафе «Весенние сны»
заколочены до весны.

У собак не бывает историков.
В бывшем баре,
у бывших столиков,
скачут псы
в свой последний день.

Их уже накрывает тень
человека с тульской винтовкой,
и с мешком,
и с бутылкой в мешке,
и с улыбкой — такой жестокой,
и с походкой такой — налегке.

НАБИРАЮТ НА ВИНОГРАД

Набирают на виноград.
В пансионатах плакаты хлопчут:
«Все, кто может,
и все, кто хочет,
набираются на виноград!»

В доме отдыха говорят:
«Лучший отдых, на грани восторга,
виноградная злая уборка.
Набирайтесь на виноград!»

Семь сойдет соленых потов,
и спина загудит парходом,
но зато вам совхоз готов
выдать, что унести своим ходом.

И поэтому десятиклассники,
сыновья отдаленных земель,
и почти оглашенные классики
из Домтворчества «Коктебель»,

и прелестнейшие дикарки,
возлежающие на берегу,
и солиднейшие деканы —
всех упомянуть я не могу —

получают свои решета,
и восторженно спины гнут,
и работают до расчета,
не считая часов и минут.

ВТОРОЕ НЕБО

Самолет пробивает небо,
а потом
не вправо,
не влево,
и не впрямь,
и не вкривь,
а вкось
переходит в небо второе,
где по состоянию здоровья
мне побывать еще не удалось.

Как же там?
Хорошо, хорошо!
Звезды ближе
и ярче блещут.
Солнца огненное колесо
искры
погорячее
мечет.

А прорвавшиеся в фарватере
самолета
воробьи,
оголтелые и бесноватые,
правят там
фестивали свои.

ОГОНЬ В ВОДЕ

Огонь всегда хорош. Даже слабый.
Вода — лишь тогда, когда много ее.
Но вот океан со всей своей славой
ревет про свое житье-бытье.

Какие метафоры у океана!
Он — словно Шекспир!
Он — потачки словам не дает.
Но вдруг замолкает до самого окоема,
тихонько поет.

И в эту огромную,
эту бескрайнюю воду
роняют огни и порты, и заводы,
прожекторы пограничников,
маяки
и попросту светляки.

А малый огонь,
отразившись в немалой воде,
вступает в нее,

а потом утопает
и место свое навсегда уступает
нетонущей
и негасимой
звезде.

ПОГРУЖЕНИЕ

Нахлобученная, как пилотка,
на сократовский лоб волны,
прямо вниз уходит подлодка,
в зону сумрака и глубины.

Как легка ее темная тяжесть,
когда с грацией лепестков,
то играя, а то будто тешась,
утопляет она
перископ.

Хороша ее грузная легкость.
Ей что вниз, что вверх — все равно.
Хороша ее грустная ловкость —
ускользать от небес на дно.

АЭРОДРОМНАЯ ТРАВА

Аэродромная трава,
привыкнув к шуму-грому,
не пробует качать права
у аэродрома.

Гляжу, как ветер от крыла
траву эту колышет.
Она то встала, то легла,
замрет и снова дышит.

Когда же вечер настает,
как наступил он ныне,
сменяется дневной полет
полетами ночными.

Но все же шелесты слышней,
и что-то вроде грома
прокатывается вдруг по ней,
траве аэродрома.

Уже не зелена — черна.
Уже не молча — громко
во все концы она слышна,
растущая вдоль кромки

бетонной взлетной полосы.
И, распрямляя плечи,
встают ромашки и овсы
и произносят речи.

ЛЮБОВЬ К МЕХАНИЗМАМ

Снова звук жестяной за стеной,
жестяной, металлический, резкий,
то тягучий, то вновь составной —
словно гнут и тиранят железки.

Не уйти от народной любви
к машинерии всякой, к моторам,
к тем умельцам, потребны которым
хоть пол-литра бензина в крови.

К бесконечным почти интересам
приобщаюсь конечной душой.
Я не винтик.
Я слишком большой.
Винт!
Нарезан я тем же нарезом.

КОНЕЦ ПТЕНЦА

Ребята мучат вредного птенца.
Наверное, домучат до конца.
Но я вмешаюсь, прекращу мученье,
произнесу ребятам поученье.

С улыбкой и любезной, и железной
я им доказываю битый час,
что тот птенец не вредный, а полезный,
что он за нас, не против нас.

Сознание пользы пересилит радость
жестокости,
и ветреная младость,
птенца оставив умирать в тиши,
уходит на иные рубежи.

ФИЛОСОФЫ СЕГОДНЯ

Философы — это значит: продранные носки, большие дыры на пятках от слишком долгой носки, тонкие струи волоса, плывущие на виски, миры нефилософии, осмысленные по-философски.

Философы — это значит: завтраки на газете, ужины на газете, обедов же — никаких, и долгое, сосредоточенное чтение в клозете философских журналов и философских книг.

Философы — это значит, что ничего не значит мир и что философ его переименует, не слушая, кто и что ему и как ему говорит. На свой салтык вселенную философ пересотворит.

Философы — это значит: не так уж сложен мир, и, если постараться, можно в нем разобраться, была бы добрая воля, а также здравая рация, был бы философ — философом, были бы люди — людьми.

РАЗНЫЕ ФОРМУЛЫ СЧАСТЬЯ

В том ли счастье?
А в чем оно, счастье,
оборачивавшееся отчасти
зауряднейшим пирогом,
если вовсе не в том, а в другом?

Что такое это другое?
Как его трактовать мы должны?
Образ дачного, что ли, покоя?
День Победы после войны?

Или та черта, что подводят
под десятилетним трудом?
Или слезы, с которыми входят
после странствий в родимый дом?

Или новой техники чара?
Щедр на это двадцатый век.
Или просто строка из «Анчара» —
«человека человек»?

СТАРИКОВСКИЕ КОСТЮМЫ

Старики не должны шить костюмы на вырост,
но учесть стариковскую слабость и хворость,
и особо опасные морось и сырость
должен старческий возраст.

Износилось, а кроме того, прохудилось,
поистратилось, кроме того, издержалось
то, что бурей носилось,
смеялось,
гордилось.
Что осталось?
Остались лишь совесть и жалость.

Вот какие
соображенья, надежды,
подкрепленные
краткими стариковскими снами,
в голову старикам
при подборе одежды
по покрою и цвету
придут временами.

Как только стали пенсию давать,
откуда-то взялась в России старость.
А я-то думал, больше не осталось.
Осталось.
В полусумраке кровать
двухспальная.
По полувековой
привычке
спит всегда старуха справа.
А слева спал
по мужескому праву
ее Иван,
покуда был живой.

Был мор на всех Иванов на Руси,
что с девятьсот шестого
были года,
и сколько там у бога ни проси,
не выпросила своему Ивану льготу.

Был мор на год шестой.
на год седьмой,

на год восьмой был мор,
на год девятый.
Да, тридцать возрастов войне проклятой
понадобились.
Лично ей самой.

С календарей обдергивая дни,
дивясь, куда их годы запропали,
поэтому старухи спят одни,
как молодыми вдовушками спали.

ПЕРРОН

Она стояла и рукой махала,
хоть поезд отблеснул во тьму давно
и скрылось в отдалении окно
с небрежно-ласковым лицом нахала.

Она махала вовсе не ему —
конец был полный, с подписью,
а кратенькому счастью своему,
коротенькому счастью. с печатью,—

Ее
почти великая душа
из этого
почти нуля
достала
крупницы драгоценного металла,
о коих он не ведал, мельтеша.

Ловча, о них он не подозревал
и потому не слишком горевал,

что, против всех своих житейских правил,
хоть что-нибудь
другой душе оставил.

Она представила, как в этот миг
он вертит головою в ресторане
и, несмотря на все старанья,
не видит вовсе женщин молодых.

И сдунула она снежок с платка,
снежинки
до единой

ловко сдула.

Ее повадка, показалось мне, легка.

Ее походка,
показалось мне,
бездумна.

СТРОИТЕЛЬ РАЯ ЖИВОПИСЕЦ ДРЕВИН

Что требуется для устройства рая?
Песок, где можно медлить, загорая,
лежать хоть полстолетья налегке.
Рай строят на песке.

Рай строят и в степи, в полупустыне,
где запахи полыни выются к сини
небес, но легче их проходит лань
в хладнеющую рань.

Покажется величия пределом
и роскоши покрашенная мелом
и синькою хатенка пастуха.
Пуста, тиха.

В горько-соленом море, мелком, местном,
одним лишь только школьникам известном,
заплатанные паруса мелькнут
на несколько минут.

Горько-солен на вкус, но многоцветен
на вид и беззаботен, беден,
ласкает глаз, не обжигая губ,
рай. Он прост и груб.

Как стройка, молод, как пустыня, древен,
прораб райстрою живописец Древин
рай, полный полудикой красоты,
наносит на холсты.

СЛАВНАЯ НЕВНЯТИЦА

Все щурится, и пятится,
и в руки не дается,
но славная невнятица
поймется и споется.

Они еще спаяются,
разорванные звенья,
и шуточкам паяца
найдется объясненье.

А фразы с существительным,
с местоименьем фразы,
что и не удивительно,
разгадываются сразу.

Они потом не снятся
и никому не помнятся.
А славная невнятица
стабильна, как пословица.

СОПОСТАВЛЯЯ ДАТЫ

9 января 1905 года

Бунин написал стихотворение «Сапсан»,
где, между прочим, были строки:

«Я застрелил его, а это
грозит бедой...»

Интересно, где был Бунин

9 января 1905 года?

В Петербурге?

Знал ли он, кого в тот день

застрелили в Петербурге?

И кому бедой грозило?

10 января 1905 года

Бунин написал «Русскую весну».

Она кончалась словами:

«В поле тепло и дремотно,
А в сердце счастливая лень».

Интересно, 10 января 1905 года

знал ли Бунин

о 9 января 1905 года?

**Опасно ставить пометы с датами
под стихотворениями:
могут вчитаться через столетие.**

ПОХВАЛА СРЕДНИМ ПИСАТЕЛЯМ

Средние писатели
видят то, что видят,
пишут то, что знают,
а гении,
вроде Толстого, Тургенева,
не говоря уже про Щедрина и Гоголя,
особенно Достоевского,
не списывают — им не с кого,
не фотографируют — не с кого,
а просто выдумывают, сочиняют,
не воссоздают,
а создают.

В результате
существует мир как мир,
точно и добросовестно
описанный средними писателями,
и, кроме того,
мир Гоголя,
созданный Гоголем,

мир Достоевского,
вымышленный Достоевским,
и это — миры,
плавающие в эфире,
существующие! —
вызывающие приливы и отливы
в душах людей
обычного мира.

НЕОТВРАТИМОСТЬ МУЗЫКИ

Музыки бесполезные звуки,
лишние звуки,
неприменяемые тоны,
болью не вызванные стоны.

Не обоснована ведь ни бытом,
ни — даже страшно сказать — бытием
музыка!
Разве чем-то забытым,
чем-то, чего мы не сознаем.

Все-таки встаем и поем.
Все-таки идем и мурлычем.
Вилкой в розетку упрямо тычем,
чтоб разузнать о чем-то своем.

ПЕРЕПИСКА С НАЧИНАЮЩИМИ АВТОРАМИ

В огромном
почтовом ящике,
где место
нашлось бы «Илиаде» с «Одиссеей»,
пакет не от Гомера, от поэта,
известного не столь.

Без спешки разрываю упаковку.
На стол планирует тетрадка.
Сейчас посмотрим,
на чем она открылась.

Как эта новизна старообразна!
В пороках этих вовсе нет соблазна!
А рифмы девятнадцатого века,
с учетом искажений и аварий,
не сильно впечатляют человека,
читавшего абрамовский словарик!

Все это — «против».
Что же «за»?

А то, что
в эпоху множительных аппаратов
доставила мне городская почта
рукопись,
а не машинопись.

Оставим на мгновенье содержанье,
калькирующее многое другое.
Познаем почерк, твердый, без дрожанья.
Написано железною рукою!

Страниц не менее двухсот!
Поэма.
Притом, как выясняется, с прологом.
Все от руки: сюжет, идея, тема.
Написано забавным русским слогом,
которым сложена еще «Фелица»,
и «Душенька», и многое другое.
Ба! — думаю. Знакомые все лица!
Но — писано железною рукою.

Слог смыслу соответствует. Не вяло,
а бойко. Много грому, много звону,
а то, что знаков препинанья мало,—
ну что ж, читай без всякого препону.

Не разгибаясь, сколько воскресений
писал, писал, стараясь попонятней.
Стыжусь ухмылок, головотрясений
и раздраженья.
Маршем на попятный!

А что там, электричество иль свечи
в обратном адресе его мелькают?
Прочту насквозь. Погибну, но отвечу.
Перо само себя уже макает
в чернильницу,
и, полный уваженья,
пишу я «уважаемый»
и сразу,
без огорченья и без раздраженья,
выписываю ласковую фразу.

Поэты мира!
Сочинять спешите.
Не прочитают то, что не напишут.
С талантом и без оно́го — пишите!
И — пишут. Понимаете ли — пишут!

ДВА ШАРА

Поэты читали важно.
Они себя уважали.
Они свое слово пели
или орали навзрыд.
Они заявляли отважно,
что видят дальние дали
и главной достигли цели:
устаами их мир говорит.

Рифмические звоночки,
и рельсовый стык размера,
и жестяные веночки,
им данные для примера,
они всерьез принимали.
А если у них отнимали —
они огорчались до слез.

И рядом с земным, огромным,
зеленым трагическим шаром
кружился веселый, мыльный
пузырь, совсем небольшой,

блистая, переливаясь
доподлинным радужным жаром,
гордясь или отличаясь
доподлинною душой.

Кружитесь, большой и малый,—
малый вокруг большого!
Вращайтесь, не отрывайтесь,
держитесь один другого!
Не выходя из круга,
для каждого шара — другого,
касайтесь слегка друг друга!
Любите весьма друг друга!

КОЛЯ ГЛАЗКОВ

Это Коля Глазков. Это Коля,
шумный, как перемена в школе,
тихий, как контрольная в классе,
к детской
 принадлежащий
 расе.

Это Коля, брошенный нами
в час поспешнейшего отъезда
из страны, над которой знамя
развевается
 нашего детства.

Детство, отрочество, юность —
всю трилогию Льва Толстого,
что ни вспомню, куда ни сунусь,
вижу Колю снова и снова.

Отвезли от него эшелоны,
роты маршевые
 отмаршировали.

Все мы — перевалили словно.
Он остался на перевале.

Он состарился, обородател,
свой тук-тук долдонит, как дятел,
только слышат его едва ли.
Он остался на перевале.

Кто спустился к большим успехам,
а кого — поминай как звали!
Только он никуда не съехал.
Он остался на перевале.

Он остался на перевале.
Обогнали? Нет, обогнули.
Сколько мы у него воровали,
а всего мы не утянули.

Скинемся, товарищи, что ли?
Каждый пусть по камешку выдаст!
И поставим памятник Коле.
Пусть его при жизни увидит.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Переводя стихи,
проходишь через стену
и с мордою в крови
выходишь вдруг на сцену,
под тысячу свечей,
пред тысячью очей,
сквозь кладку кирпичей
пробившись, как ручей.

Стоишь ты налегке,
иллюзии не строя,
размазав по щеке
кирпич и слезы с кровью.
Сквозь стены, сквозь бетон,
сквозь темноту стреляя,
нашел ты верный тон?
Попал ты в цель?
Не знаю.

ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Пишут книжки, мажут картинки!
Очень много мазилок, писак.
Очень много серой скотинки
в Аполлоновых корпусках.

В Аполлоновых батальонах
во главе угла, впереди,
все в вельветовых панталонах,
банты черные на груди.

А какой-нибудь — сбоку, сзади —
вдруг возьмет и перечеркнет
этот
в строе своем и ладе
столь устроенный, слаженный гнет

И полвека спустя — читается!
Изучает его весь свет!
Остальное же все — не считается.
Банты все!
И весь вельвет.

ОЧЕРЕДЬ ЗА КНИГОЙ

Мы в очереди.

— Что дают? —

Ответствуем, что мы за книгой.

— Разочарован? Дальше двигай! —

Но некоторые — встают.

Встают. Стоять не устают.

Стоять всю жизнь, до смерти

рады

не хлеба ради — слова ради,

что им по слогу выдают.

Отчетливее наций, рас,

ясней, чем лысины, седины,

знак на лице,

что ты хоть раз

стоял за книгой.

Хоть единый!

Кто облучен ее лучом,

ее сияньем коронован,

тому иное нипочем:
вознагражден он томом новым.

Надеюсь, что не раз, не два
возобновится эта давка
у застекленного прилавка.
— А что там продают?
— Слова.

С МАХУ В ДОЖДЫ

Разгорается, расцветает дождь,
пламенеет, благоухает ливень.
Нет, его в подъезде не переждешь
в настроении желчном и несправедливом.

Ливень-проливень будет лить-проливать
до утра
и завтра, и послезавтра.
Очень долго солнышку не бывать —
набирайтесь же куражу и азарта

и, газетой, свежей газетой закрыв
голову и подвернув штанины,
с маху прыгайте в дождевой обрыв
и в лихие, счастливые
ливня стремнины.

Дождь ведь самая важная,
самая влажная форма жизни
и лучшая из новостей.
А промокнете до костей — неважно!
Вы успеете высохнуть до костей.

ТАКАЯ РАНЬ

Такая рань, когда часы не встали
и тикают тихонечко во сне,
а в небе кóлера застывшей стали
звезда напоминает об огне.

Еще никто зарядку не включал.
Еще нигде погода не звучала.
На дню из множества его начал
не начато ни одного начала.

Сны длятся. Им покуда не мешают
по кривизне задумчивой идти,
но дворник, выглянув в окно, решает,
скрести иль не скрести.

Машины типографские шумят,
заготавливая новости и вести,
и юношей предчувствия томят,
предвиденья
то совести, то чести.

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ ЧАСА

Последние три четверти часа
перед Москвой и домом:
Москвы-реки песчаная коса,
высокие, густые небеса
и новенькая лесополоса,
и вдруг в окно вагонное

роса

пахнет родимым чем-то и знакомым.
Последние три четверти пройдут.
Ты сходишь на асфальт окраин,
дорожным сквозняком еще продут
и перегромом рельсовым ограян.

Еще продут дорожным сквозняком!
Но снова ты
навечно в этом городе,
и вся Москва подкатывает,
ком
Москвы
подкатывает к горлу.

ПЕЙЗАЖ С ТЕЛЕБАШНЕЙ

Останкинская телебашня
уже привычна и домашня
и, несмотря на малый стаж,
в столичный вписана пейзаж.
Насущная, как пайка хлеба,
она вершит свои дела.
И все-таки она стрела,
направленная прямо в небо.

Полувоздушна, невесома,
сама собой в ночи несомы,
вся музыка, хоккей, балет,
она к утру начнет белеть,
светлеть от солнечного света.
И вот уже — совсем светла!
Но все-таки она стрела,
направленная прямо в небо!

ТОПОЛИНЫЙ ВОПРОС

Не решают никак
города,
как же им отнестись к тополям.
То их рубят, то колют.
То лелеют, а то не жалеют.
То последнюю корку
делят с тополем пополам.
То — попозже чуть —
пни тополиные
всюду белеют.

То дивятся
их быстрорастущей красе.
То назавтра чернят
белый пух тополиный.
Тополь, ливнем секомый
и солнцем палимый,
молча слушает, как упражняются все.

Что он думает, тополь,
когда в голубую кору

поздно вечером врежет
любовник
возлюбленной имя?
Что он думает, тополь, когда поутру
дровосеки подходят,
свистя топорами своими?

Если правда, что есть у растений душа,
то душа тополей
озверела и ожесточилась.
Слишком много терпела она и училась,
пока этот вопрос
тополинный
решался,
отнюдь не спеша.
То ли сразу их с корнем!
То ли пусть их растут, как растут,
потрясая весною
своей новизною,
умирая,
но только зимой от остуд,
летом — только от летнего зноя.

ЭСКИЗ ЯНВАРСКОЙ НОЧИ

Елки отработали свое.
Рождество и новогодье честно
отстояли. Всем известно,
что у елок краткое житье.

Белый снег — зеленою иглой,
шумный дворик елками завален.
Из ночи выходите — за вами
зелень с белизной
под черной мглой.

Светит колющим лучом звезда,
а луна лучом широким гладит.
Наледь. Осторожная езда.
Вот и все. А зимней ночи — хватит.

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОРОБЬЮ

А воробью погибнуть не дадут —
какой мороз его ни убивает,
какими нояблями ни продут:
воробушком недаром называют.

Воробушек! Как сказано! Любовь
круглит уста, вытягивает звуки,
и весь народ протягивает руки,
чтоб в них согрелся воробей любой!

Невзрачная душонка городов,
он отлететь от них никак не хочет.
Что транспорт городской ни прогрохочет,
перечирикать тотчас он готов.

Великая и вечная душа
промышленности, техники и связи
не торопясь и не спеша
из грязи перемахивает в князи.

ЗАПЛЫВ

Перекатывалось течение
всей Москвы-реки через меня,
и в прекрасном ожесточении
пробивался я сквозь течение,
сквозь струю ледяного огня.

Отгибало, сносило меня,
то охватывало, то окатывало
и откуда-то и куда-то вело
сквозь струю ледяного огня.

И созвездья, зубцами цепляясь,
словно за шестерню шестерня,
пролетали — все! — сквозь меня.
Шел я, плыл я, ошеломляясь,
сквозь струю ледяного огня.

ПРЕИМУЩЕСТВА СороКАЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Сорок лет с пустяком еще было —
сорок с чем-нибудь только
 годов.

Я еще не утрачивал пыла
и почти ко всему был готов.

Сорок лет — это молодость старости,
самое начало конца,
когда столько еще до старости,
когда столько еще до конца!

Я носил цветные рубашки
славной выкройки: «Я те дам!»
Я еще не утратил замашки,
сродные тридцати годам.

Я еще на женщин заглядывался,
а не то что сейчас: глядел.
Жил и радовался.
Просто радовался!
И не думал про свой предел.

Я еще сажал деревья,
зная, что дождусь плодов,
и казался мне древним-древним
счет

настигших сегодня годов.

Словно сорок сороков
вместе с сорока друзьями,
я взлетал высоко-высоко
и не думал о черной яме.

И другие есть льготы и прелести,
краю нет им, конца им нет,
у поры незабвенной зрелости,
именуемой: сорок лет.

СТАРЫЕ ДАЧНИКИ

Старые, и хворые, и сирые
живы жизнью, все-таки живой,
старость, хворость, сирость компенсируя
летом, проведенным под Москвой.

Вот еще одна зима прошла.
Вот еще одна весна настала.
Та кривая, что всегда везла,
вывезла опять, как ни устала.

Тощие, согбенные и бледные,
до травы доползшие едва,
издают приветствия победные,
говорят могущие слова.

Вот они здороваются за руки,
длительный устраивают тряс,
в Алексеевке и в Елизаровке
встретившись уже в который раз.

Вот они глядят хозяйским глазом:
солнышко —
 где быть оно должно,
ельничек, березничек —
 все рядом.
Поспевают ягоды давно.

Раз судьба
 их пощадила снова,
стало быть, не миновать судьбы
вам,
 пока еще в лесу сосновом
укрывающиеся
 грибы.

ТРИ АЛЕКСЕЕВСКИХ КОЗЫ

Старик и три его козы,
пройдя искусства зимних тягот,
за год состаренные на год,
живут! По ним — не лить слезы.

Старик мотает головой,
но все-таки еще живой.
Козел бородкою мотает,
но все ж не в небесах витает:
живая жизнь его питает
зеленой, сочною травой.

И я, который их нашел
живыми и в хорошем стиле,
нелегкий этот год прошел,
как будто бы меня простили
и вновь за пиршественный стол,
пусть где-то с краю, посадили.

МОСКОВСКИЙ ЙОГ

Йог, который после работ,
после всех забот и собраний,
все же на голову встает
и стоит, молодой и странный.

Два часа, два с половиной,
даже три часа на голове!
В пронсящейся мимо лавиной,
в равнодушной к йогам Москве.

Йог, который сердечный ёк,
боли в печени, в кишке шишки
усмиряет, съедая паек
из растрепанной взятой книжки.

Он бредет с улыбкой восточной
по-над западной пустотой,
деловитый и даже точный,
сложный, в то же время простой.

Он, по коммунальной квартире
все расхаживающий в трусах,
он, в шумливом и сложном мире
попадать не хотящий впросак,—

сыроядец, молокопийца
ради странных своих идей,
успевает он как-то скопиться,
накопиться между людей.

Он склоняется над Европой,
он толкает ее к траве:
ну, чего тебе стоит! Пробуй.
Постоим на голове.

ПЕТРОВНА

Как тоскливо в отдельной квартире
Серафиме Петровне,

 в чьем мире
коммунальная кухня была
клубом,

 как ей теперь одиноко!
Как ей, в сущности, нужно не много,
чтобы старость успешнее шла!

Ей нужна коммунальная печь,
вдоль которой был спор так нередок.
Ей нужна машинальная речь
всех подружек ее,
всех соседак.

(Раньше думала: всех врагинь —
и мечтала разъехаться скоро.

А теперь —
 и рассыпья, и сгинь,
тишина!

И да здравствуют ссоры!)

И старуха влагает персты
в раны телефонного диска,
и соседке кричит: — Это ты?
Хорошо мне слышно и близко!..

И старуха старухе звонит
и любовно ругает: — Холера! —
И старуха старуху винит,
что разъехаться ей так горело.

ОПАСНОСТИ ПЕРВОГО ШАГА

Дед и бабушка учат ходить
крупного, серьезного внука.
Это первая в жизни наука
в серии: овладеть — победить.

В серии: решиться и смочь —
это первое в жизни деянье.
Надо преодолеть расстояние.
Самому себе надо помочь.

Молод дед, и бабушка юна —
ныне в моде ранние браки.
На буреющей летней травке
в майке он, в сарафане она.

С той поры, как свой первый шаг
сами сделали,
миновало
сорок лет с небольшим. В ушах
грохот скорости, вроде обвала.

Но сейчас не об этом речь.
Речь о внуке. Его отвага
их пугает. Как остеречь
от опасностей первого шага?

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Самостоятельный! А прежде слово «смирный»
с значительной произносилось миной,
что, мол, смирен и, стало быть, хорош.

А нынче смирных ставят ни во грош.
А нынче смирных ни во грош не ставят!
Смиренье вечными снегами стает,
как только стает — вовсе утечет,
и смирные, они теперь не в счет.

Но самому стоять! Самостоятельно —
желательно, прекрасно и сиятельно!

По собственному поступать уму
и разбираться лично. Самому!

Самостоятельный! И значит: сам стрю,
отвергнувши опеку и подпоры,
и ввязываюсь, если надо, в споры,
и этого нисколько не таю.

Чуть кончилась математика,
ребята бегут во двор.
Сангвиники бьют флегматика,
нарушившего уговор.

Темперамент — характеру,
отвесивши пару плюж,
немало сил истратили,
зато укрепили дух.

Еще до звонка историку
осталось десять минут.
Холерики меланхолику
шею еще намнут.



Смешливость, а не жестокость,
улыбка, а не издевка:
это я скоро понял
и в душу его принял.
Я принял его в душу,
и слово свое не нарушу,
и, как он ни мельтеши,
не выброшу из души.

Как в знакомую местность,
вхожу в его легковесность.

Как дороге торной
внезапный ухаб простишь,
прощаю характер вздорный,
не подрываю престиж.

Беру его в товарищи,
в спутники беру —
у праздного, у болтающего
есть устремленья к добру.

ВЫПАДЕНИЕ ИЗ ОТЧАЯНИЯ

Впал в отчаяние, но скоро выпал.
Быстро выпал, хоть скоро впал.
И такое им с ходу выдал,
что никто из них не видал.

Иронически извиняется,
дерзко смотрит в лицо врагам,
и в душе его угомоняется
буря чувств, то есть ураган.

Он не помнит, как руки ломал,
как по комнате бегал нервно.
Он глядит не нервно, а гневно.
Он уже велик, а не мал.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Отец был Сергей и шутник
и сына назвал Александром.
Не думал, не понял, не вник —
обрек на который оброк.
Вот так этот тезка возник,
с таким же горячим азартом
и жадностью к чтению книг
и к станциям дальних дорог.

А то, что таланту судьба
ему уделила не много,—
ну что ж, верстового столба
в окне и стихов на столе
хватало ему за глаза,
и, пушкинской лучше, дорога,
железной дорога была,
что мчала его по земле.

Как редко читают стихи,
особенно в жестком и твердом
вагоне, где книга дрожит,
немедля фиксируя стык!

Я долго его наблюдал,
читая и в профиле гордом,
и в неординарных руках,
а также в глазах непростых.

Откуда приходим к стихам?
От вдруг полюбившейся строчки?
От радиопередач?
От жизненных передряг?
Вот так мы приходим к стихам.
А он и родился в сорочке.
От имени с отчеством он
нежнейшее принял из благ.

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

И без наглости,
и без робости,
и не мудро,
и не хитро,
как подсаживаются в автобусе,
как подсаживаются в метро,
он подсел в эту жизнь —
на всю жизнь,
и отсаживаться не захотелось.
Вместе им
и пилось, и елось.
Полностью сбылось
все, что пелось
в их сердцах,
когда, такт и честь
соблюдая
в мельчайшей подробности,
он без наглости
и без робости
ей сказал:
— Позвольте присесть!

ТОЛКОВЫЙ МЛАДЕНЕЦ

Младенец с иронической улыбкой
не лыком шит,
хотя не вяжет лыка!

Младенец иронически смеется.
Сечет, наверно. Понимает все.
А вроде бы мозгляк. Ни то ни сё.
И как ему ирония дается?

Я выработывал ее лет сто.
Не выработал. Ничего не вышло.
А несмышленьш, ну ни сё ни то,
наверно, думает: закон что дышло.

К какой досрочной мудрости привит,
он слабо улыбается сквозь лепет?
Ирония его уста кривит.
А может, это просто зубик лезет?

СПРЯМЛЕНИЕ КРИВИЗНЫ

Как ты крыльями ни маши —
не взлетишь над самим собой,
так что лучше людей не смеси
несуразной своей судьбой.

Ты уж лучше гни свою линию,
понемногу спрямляй кривизну
и посматривай изредка в синюю,
во небесную
голубизну.

ЗЕРКАЛЬЦЕ

— Ах, глаза бы мои не смотрели! —
Эти судорожные трели
испускаются только теперь.
Счет закрылся. Захлопнулась дверь.

И на два огня стало меньше,
два пожара утратил взгляд.
Все кончается. Даже у женщин.
У красавиц — скорей, говорят.

Из новехонькой сумки лаковой
и, на взгляд, почти одинаковой
старой сумки сердечной
она
вынимает зеркальце. Круглое.
И глядится в грустное, смуглое,
отраженное там до дна.

Помещавшееся в ладони,
это зеркальце мчало ее
побыстрей, чем буланые кони,
в ежедневное бытие.

Взор метнет
или прядь поправит,
прядь поправит
и бросит взгляд,
и какая-то музыка славит
всю ее!
Всю ее подряд!

Что бы с нею там ни случилось —
погляди и потом не робей!
Только зеркальцем и лечилась
ото всех забот и скорбей.

О ключи или о помаду
звякнет зеркальце на бегу,
и текучего счастья громада
вдруг зальет, разведет беду.

Столько лет ее не выдавала
площадь маленького овала.
Нынче выдала.
Резкий альт!
Бьется зеркальце об асфальт.

И, преображенная гневом
от сознания рубежа,
высока она вновь под небом,
на земле опять хороша.

И ДЯДИ, И ТЕТИ

Дядя, который похож на кота,
с дядей, который похож на попа,
главные занимают места:
дядей толпа.

Дяди в отглаженных сюртуках.
Кольца на сильных руках.
Рядышком с каждым, прекрасна на вид,
тетя сидит.

Тетя в шелку, что гремит на ходу,
вдруг к потолку
воздевает глаза
и говорит, воздевая глаза:
— Больше сюда я не приду!

Музыка века того: граммофон.
Танец эпохи той давней: тустеп.
Ставит хозяин пластиночку. Он
вежливо приглашает гостей.

Я пририсую сейчас в уголке,
как стародавние мастера,
мальчика с мячиком в слабой руке.
Это я сам, объявиться пора.

Видите мальчика рыжего там,
где-то у рамки дубовой почти?
Это я сам. Это я сам!
Это я сам в начале пути.

Это я сам, как понять вы смогли.
Яблоко, данное тетей, жую.
Ветры, что всех персонажей смели,
сдуть не решились пушинку мою.

Все они канули, кто там сидел,
все пировавшие, прямо на дно.
Дяди ушли за последний предел
с томными тетями заодно.

Яблоко выдала в долг мне судьба,
чтоб описал, не забыв ни черта,
дядю, похожего на попа,
с дядей, похожего на кота.

СТАРИННЫЙ СОН

Старинный сон,
словно старинный вальс.
Внезапно он
настигнет вас.
Смутит всего
и зазвучит в душе,
хотя его
забыли вы уже.

Опять знобит
и лихорадит вновь,
хотя забыт
старинный сон дурной.
Забыт давно,
давным-давно,
но все равно,
но все равно.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

У меня болела голова,
что и продолжалось года два,
но без перерывов, передышек,
ставши главной формой бытия.
О причинах, это породивших,
долго толковать не стану я.

Вкратце: был я ранен и контужен,
и четыре года — на войне.
Был в болотах навсегда простужен.
На всю жизнь — тогда казалось мне.

Стал я второй группы инвалид.
Голова моя болит, болит.

Я не покидаю свой диван,
а читаю я на нем — роман.

Дочитаю до конца — забуду.
К эпилогу — точно забывал,
кто кого любил и убивал.
И читать сначала снова буду.

Выслуженной на войне
пенсии хватало мне
длить унылое существованье
и надежду слабую питать,
робостное упованье,
что удастся мне с дивана — встать.

В двадцать семь и двадцать восемь лет
подлинной причины еще нет,
чтоб отчаяние одолело.
Слушал я разумные слова,
но болела голова
день-деньской, за годом год болела.

Вкус мною любимого борща,
харьковского, с мясом и сметаной,
тот, что, и томясь, и трепеща,
вспоминал на фронте неустанно, —
даже этот вкус не обжигал
уст моих, души не тешил боле
и ничуть не помогал:
головной не избывал я боли.

Если я свою войну
вспоминать начну,
все ее детали и подробности,
реставрировать по дням бы смог!

Время боли, вялости и робости
сбилось, слиплось, скомкалось в комок.

Как я выбрался из этой клетки?
Нервные восстановились клетки?
Время попросту прошло?
Как я одолел сплошное зло?

Выручила, как выручит, надеюсь,
и сейчас — лирическая дерзость.
Стал я рифму к рифме подбирать
и при этом силу набирать.

Это все давалось мне непросто.
Веры, и надежды, и любви
не было. Лишь тихое упорство
и волнение в крови.

Как ни мучит головная боль —
блекну я, и вяну я, и никну, —
подберу с утра пораньше рифму,
для начала, скажем, «кровь — любовь».

Вспомню, что красна и горяча
кровь, любовь же голубее неба.
Чувство радостного гнева
ставит на ноги и без врача.

Земно кланяюсь той, что поставила
на ноги меня, той, что с колен
подняла и крылья мне расправила,
в жизнь преобразила весь мой тлен.

Вновь и вновь кладу земной поклон
той, что душу вновь в меня вложила,
той, что мне единственным окном
изо тьмы на солнышко служила.

Кланяюсь поэзии родной,
пребывавшей в черный день со мной.

ТЕМА СТАРОСТИ

Тема юности стихает.
Тема старости вспухает,
раздувается, ревет
по соседству, где-то рядом,
словно бы большой завод,
то окликнет, позовет,
одарит тоскливым взглядом,
то завоюет зоосадам.

Бог с метафорами теми,
и без них кругом беда.
Я надолго в этой теме,
я, точнее, навсегда.

Тропы все и синекдохи
юность забирает пусть,
удержав себе все вздохи,
нам оставив мысль и грусть,
только точное, как в яблочко,
слово, быстрое, как ласточка.

Только острое, как бритва,
зрачок полоснувшее,
то, шестое чувство — ритма —
и рыбешкою блеснувшую,
золотистую строку.

Я писать еще могу!

ЖАВОРОНОК НАД РОЖЬЮ

Было поле ржи и жаворонок.
Без конца и края ржи.
И огромный, крупный жаворонок
занимал все рубежи.

Но когда по вертикали
ноты золота стекали,
золотой волною вдаль
ржи текла горизонталь.

Это все досталось мне:
и земли дары, и неба,
синева по желтизне,
море песни в море хлеба.

Мыты золотой волной,
золотою нитью сшиты,
это небо, это жито
с жаворонком и со мной.

Вот он, слышен и невидим!
По его блестящим нитям
так легко, не тяжело
небо наземь снизошло.

СТАРЫЙ СНЕГ И НОВЫЙ СНЕГ

Новый год засыпает снегами
и притаптывает ногами
старый год
и старый снег,
а потом насыпает новый
снег
и новой веткой сосновой
заново приветствует всех.

И покуда снег прошлогодний
сочинителями аллегорий
разбирается для баллад,
новый с хваткою удалою
мир метет
своей новой метлою,
блещет,
словно новый булат.

Сколько дней у нового снега?
Сколько времени у новизны?
Сколько будет он сыпать с неба?
Все два месяца до весны.

**А весной новые травы,
под ручья торжествующий смеж,
заставляют забыть по праву
старый снег
и новый снег.**

ВСЕ-ТАКИ МЕЖДУ ТЕМ...

Тень переходит в темь.
День переходит в ночь.
Все-таки, между тем,
можно еще помочь.

Шум переходит в тишь.
Звень переходит в немь.
Что ты там мне ни тычь,
все-таки, между тем...

Жизнь переходит в смерть.
Вся перешла уже.
— Все-таки, между тем! —
Крикну на рубеже.

Шаг переходит в «Стой!».
«Стой!» переходит в «Ляг!».
С тщательностью простой
делаю снова шаг:

шаг из тени в темь,
шаг из шума в тишь,
шаг из звени в немь...
Что ты там мне ни тычь!

БОЛЬШИЕ МОНОЛОГИ

В беде, в переполохе
и в суете сует
большие монологи
порой дают совет.

Конечно, я не помню
их знаменитых слов,
и, душу переполняя,
ушли из берегов

граненые, как призмы,
свободные, как вздох,
густые афоризмы,
сентенции эпох.

Но лишь глаза открою
взирают на меня
шекспировские брови
над безднами огня.

ЧЕРЕЗ СТЕКЛО

У больничного окна
с узелком стоит жена.
За окном в своей палате
я стою в худом халате.

Преодолевая слабость,
я запахиваю грудь.
Выдержкой своею славясь,
говорю, что как-нибудь.

Говорю, что мне неплохо,
а скорее хорошо:
хирургического блока
не раздавит колесо.

А жена моя, больная,
в тыщу раз больней меня,
говорит: — Я знаю, знаю,
что тебе день ото дня

лучше. И мне тоже лучше.
Все дела на лад идут.—
Ветром день насквозь продут.
Листья опадают в лужи.

Листья падают скорей,
чем положено им падать.
О грядущем злая память,
словно нищий у дверей,
не отходит от дверей.

ДЕРЕВО В ОКНЕ

Я видел города в огне
четыре года на войне,
а ныне дерево в окне
заметилось впервые мне.

Оно стояло там давно,
но долго было все равно.
С сегодняшнего дня оно
в тетрадь души занесено.

Какие листья в нем кипят!
Как облетают в листопад!
И как заносит снегопад
его. От головы до пят!

Я столько в жизни упустил:
веселость нив, угрюмство скал,
и тундры ледяной оскал,
и то, что всадник проскакал.

Но дерево, каждой весной
блистающее новизной
и поникающее в зной,
но дерево в окне — со мной!

ЛАНЬ

Еще в мире война большая была,
рядом ранило и убивало,
лань же голову в руки совала
мне. Она это делать — могла!

Я на «виллисе» долго носился,
и заехал я в этот лес.
Он стоял супротив небес
и, по-видимому, к ним относился.

Зелень свежая майской листвы
отзывала небесною синью.
Далеко-далеко до Москвы.
Далеко-далеко до России.

Рядышком бухал фронт. Этот звук
беспокоил животное. Морду
лань выхватывала из рук.
То опасливо, то гордо
лань поглядывала вокруг.

Герцог, тот, что организовал
эти девственные коряги,
этот рай, в городской тюрьме
три недели уже пребывал.

Все леса, начиная с Москвы —
тыщи три километров лесистых,
лишены были веток росистых,
с ног ободраны до головы.

Птицы петь не смели в лесах.
Мошки не желали кружиться.
Леший, все перенесший лешак,
высунуться не решался решиться.

Так что было даже неловко,
когда в ту золотую рань
в руки вкладывала головку,
что-то нежно мычала лань.

Я вскочил в машину и, гикнув,
сразу дернул из рая на фронт,
а она, шею четко выгнув,
вслед глядела, открывши рот.



В этот вечер, слишком ранний,
только добрых жду вестей —
сокращения желаний,
уменьшения страстей.

Время, в общем, не жестоко:
все поймет и все простит.
Человеку нужно столько,
сколько он в себе вместит.

В слишком ранний вечер этот,
отходя тихонько в тень,
применяю старый метод —
не копить на черный день.

Будет день, и будет пища.
Черный день и — черный хлеб.
Белый день и — хлеб почище,
повкусней и побелей.

В этот слишком ранний вечер
я такой же, как с утра.
Я по-прежнему доверчив,
жду от жизни лишь добра.

И без гнева и без скуки,
прозревая свет во мгле,
холодеющие руки
грею в тлеющей золе.



Делайте ваше дело,
поглядывая на небеса.
как бы оно ни задело
души и телеса,
если не будет взора
редкого на небеса,
все позабудется скоро,
высохнет, как роса.

Делали это небо
богатыри, не вы.
Небо лучше хлеба.
Небо глубже Невы.
Протяжение трассы —
вечность, а не век.
Вширь и вглубь — пространство.
Время — только вверх.

Если можно — оденет
синей голубизной.

Если нужно — одернет:
холод его и зной.
Ангелы, самолеты
и цветные шары
там совершают полеты
из миров в миры.

Там из космоса в космос,
словно из Ялты в Москву,
мчится кометы конус,
вздыбливая синеву.
Глядь, и преодолела
бездну за два часа!
Делайте ваше дело,
поглядывая на небеса.

СОДЕРЖАНИЕ

Тане	3
Неоконченные споры	4
Прощание	6
Жалею время, что оно прошло	7
Воздух полета	9
Уверенность в себе	11
Воспоминания	13
Самый старый долг	15
Женская палата в хирургии	17
Днем и ночью	19
Минное поле	20
Школа войны	22
Звездные разговоры	24
Осень в разгаре	26
«Закапываю горечь...»	27
Руки на поручне	28
Обгон	29
Вера на слово	31
Любовь к старикам	33
Захарова ко мне!	35
Наглядная судьба	37
Воронье перо справедливости	39
Быть хорошим товарищем	40
Одногодки	42
Одиннадцатое июля	44
Бутылки лета сорок первого	46
Звуковая игра	48
Литературная консультация	50
«Привычка записывать ены...»	52
Диагональ-матушка	53

Претензия к Антокольскому	55
Непривычка к созерцанию	57
Уроки музыки	59
На этюдах	61
Определение лирики	62
Перепробы	64
Ритм маяка	65
Рыбы в сети	66
Движение облаков	67
Цепная ласточка	69
Выгон	70
Голоса души и тела	71
Не лезь без очереди!	72
Смерть врага	73
Все три измерения совести	74
«Не сказануть — сказать хотелось...»	76
Планируя, не зарывайся!	77
Как использовать машину времени?	79
Любительский бокс	81
Очень много сапожников	83
Польза невнимательности	85
Какой полковник!	87
Стирка гимнастерки	89
Собака с миной на ошейнике	91
Ведро вишни	92
Самая военная птица	93
Новое выражение земли	95
Новое пальто для родителей	97
Отцы и сыновья	99
Черта меж датами	101
Третья память	102
Тяжелая легкость	103

Старый спутник	104
Текст и музыка	105
Прощение	106
Способность краснеть	107
Старая фотография	109
Информация и интуиция	110
На полях пословицы	112
Все четыре времени жизни	113
Боязнь страха	115
Ночные страхи	117
Подъем	119
По трубе	121
Больница	123
Выздоровление	125
И вилки, и ложки	127
Очередной отпуск	128
Начало осени	130
Осенний отстрел собак	132
Набирают на виноград	134
Второе небо	136
Огонь в воде	138
Погружение	140
Аэродромная трава	141
Любовь к механизмам	143
Конец птенца	144
Философы сегодня	145
Разные формулы счастья	146
Стариковские костюмы	147
Иванихи	148
Перрон	150
Строитель рая живописец Древин	152
Славная невятица	154

Сопоставляя даты	155
Похвала средним писателям	157
Неотвратимость музыки	159
Переписка с начинающими авторами	160
Два шара	163
Коля Глазков	165
Трудности перевода	167
Полвека спустя	168
Очередь за книгой	169
С маху в дождь!	171
Такая рань	172
Последние три четверти часа	173
Пейзаж с телебашней	174
Тополиный вопрос	175
Эскиз январской ночи	177
Хорошее отношение к воробью	178
Заплыв	179
Преимущества сорокалетнего возраста	180
Старые дачники	182
Три алексеевских козы	184
Московский йог	185
Петровна	187
Опасности первого шага	189
Самостоятельность	191
Прикладная психология	192
«Смешливость, а не жестокость...»	193
Выпадение из отчаяния	194
Александр Сергеевич	195
На всю жизнь	197
Толковый младенец	198
Спрявление кривизны	199
Зеркальце	200

И дяди, и тети	202
Старинный сон	204
Преодоление головной боли	205
Тема старости	209
Жаворонок над рожью	211
Старый снег и новый снег	213
Все-таки, между тем...	215
Большие монологи	217
Через стекло	218
Дерево в окне	220
Лань	222
«В этот вечер, слишком ранний...»	224
«Делайте ваше дело...»	226

Борис Абрамович Слуцкий

НЕОКОНЧЕННЫЕ СПОРЫ

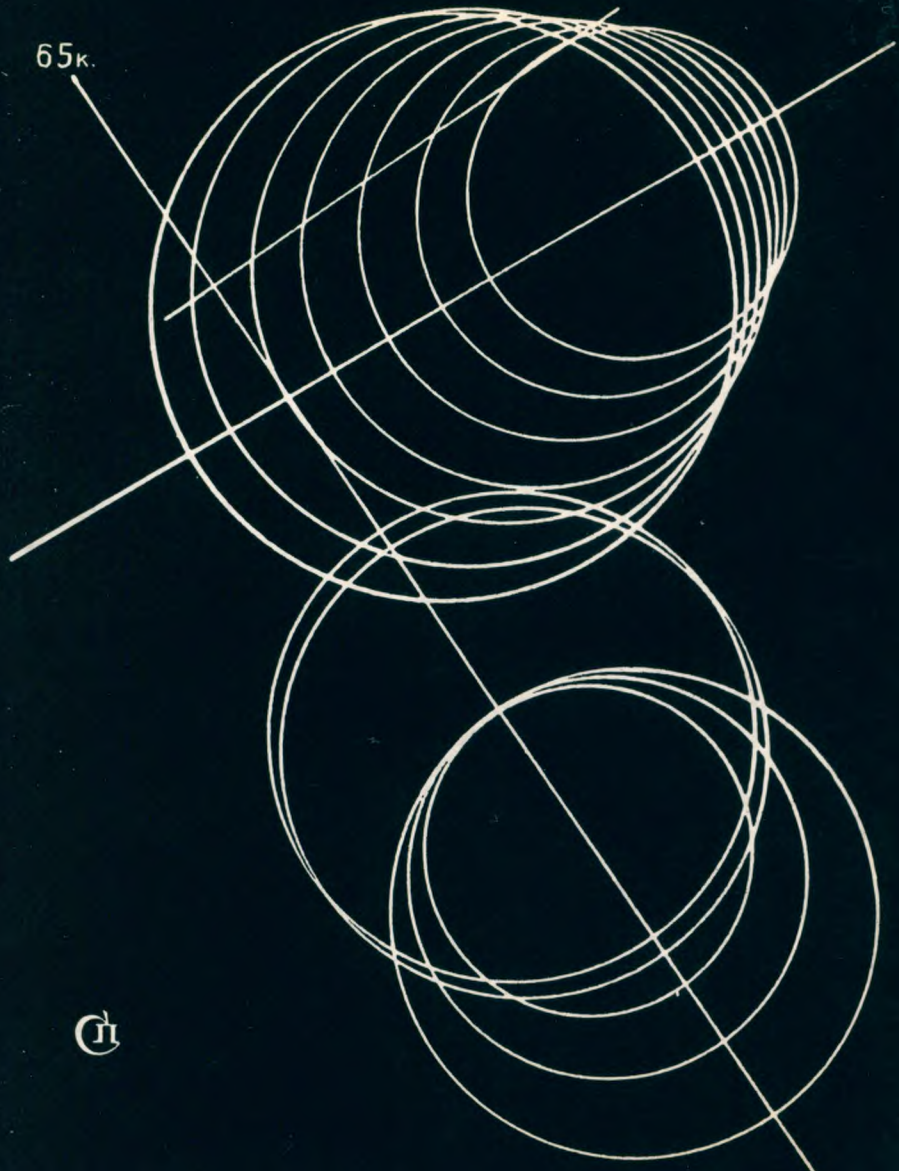
М., «Советский писатель», 1978, 232 стр.
План выпуска 1978 г. № 184

Художник В. А. Родченко
Редактор В. С. Фогельсон
Худож. редактор Н. С. Лаврентьев
Техн. редактор И. М. Минская
Корректор Р. Г. Рагимова

ИБ № 1298

Сдано в набор 17.03.78. Подписано к печати 06.07.78. А 07317.
Формат 70×108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Журнальная гарнитура.
Высокая печать. Усл. печ. л. 10,15. Уч.-изд. л. 5,20. Тираж
25 000 экз. Заказ № 250. Цена 65 коп. Издательство «Совет-
ский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская
типография «Союзполиграфпрома» при Государственном ко-
митете Совета Министров СССР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли, г. Тула, проспект им.
В. И. Ленина, 109

65к.



Г

65 коп.



CT